

1 декабря 2019

Всё так, но пушкинская Беатриче не явилась в его ненаписанных терцинах. Он начал их писать в 30 году. «В начале жизни школу помню я». Но «Божественная комедия» нашего поэта, моего учителя и вождя, так и не была создана. Завещанная Гоголю тема воскресения души у автора «Мёртвых душ» определила, казалось бы, навсегда смысл и содержание этих духовных исканий в современном лесу. «Небранные струны», обещанные Гоголем в первом томе «Мертвых душ», так и не прозвучали. И всё же он определил дальнейшее будущее развитие этой молитвы, обращенной к Беатриче. У Гоголя в лирических отступлениях его поэмы таким, почти олицетворенным образом стала Русь. Это так или иначе было понято и воспринято нашей литературой. Душой всего творчества Чехова, если перенестись в конец столетия, на мой и не только на мой взгляд, стала повесть «Степь», где есть прямая образная отсылка к Гоголю. Вот это несказанное чеховское настроение, пронизывающее его прозу, это не подводное течение, а особый гоголевский мир, дававший особую интонацию при его погружении – от современной России, современной ему России. Казалось бы, без чистилища, и уж во всяком случае, без рая. И всё-таки ожидание каких-то перемен, вот это особое несказанное чувство, с которым он жалел и прощал, и осуждал своих героев и персонажей, и в прозе и в пьесах, сродни тому высокому лиризму, который заявлен в повести «Степь». Это чувство взывало: «певца, певца». И так или иначе, Чехов оставался верен этому призыву. И его проза и драматургия стала воплощением, ответом на тот призыв, который бросил России Гоголь.

Но между Пушкиным, Гоголем, Чеховым явилась в мир русская классика. И там эта тема, тема Беатриче, по существу не состоялась. Были попытки. У Чернышевского невеста всех своих женихов – революция – в четвёртом сне Веры Павловны заговорившая прямо дантовским языком: «здесь я цель жизни, здесь я вся жизнь», не стала вполне убеждающим образом. В лирике у Алексея Константиновича Толстого однажды прозвучали мотивы, созвучные Данте: «Но не грусти, земное минет горе. /Пожди ещё, разлука недолга, – /В одну любовь мы все сольемся вскоре, /В одну любовь, великую как море, /Что не вместят земные берега!». У Некрасова мелькнула строчка «Как женщину ты родину любил». И эта, тоже не развившаяся по-

настоящему тема нашла ипостасное продолжение у Блока. Так, казалось бы, явился дантовский грандиозный лиризм. «Стихи о прекрасной даме» были прямым воссозданием, вновь рождением дантовской темы. Но мы видим, как от книги к книге в его, блоковской, трилогии происходило...

... Хочу немножко вернуться. Неточно процитировал Алексея Константиновича Толстого: «Пожди ещё, неволя недолга. /В одну любовь мы все сольемся вскоре». Но опять к Блоку. В его трилогии постепенно тема Прекрасной Дамы всё больше и больше воплощается в земном, вбирает в себя темы, мотивы земных переживаний и трагедий. И вот уже она является как Незнакомка: «Глухие тайны мне поручены, /Мне чьё-то солнце вручено, /И все души моей излучины /Пронзило терпкое вино». Удивительно, здесь дантовский мотив сочетается с раблезианским финалом «Гаргантюа и Пантагрюэля»: пейте, истина в вине, тринк. И всё равно, даже образ Незнакомки, столь, казалось бы, эпохальный, столь властительный и художественно совершенный, тоже был для Блока недостаточен. И вот являются такие стихотворения, как «Русь», «Россия». Да, воплощением этой силы, этой вечно женственной, вознесенной над миром правды, становится Русь. И в цикле «На поле Куликовом», и в этих названных уже стихотворениях Блока – опять Русь. Гоголевское предчувствие того, как разовьется эта тема, подтверждено. Страшные испытания переживает эта тема. И в «Возмездии», и, конечно, в «Двенадцати», где присутствует в совершенно особом проявлении и воплощении, в особой ипостаси, грандиозной лиризм. Разумеется, Прекрасная Дама не стала Катюшкой в этой поэме. Но и на ней лежит отблеск этой высочайшей темы, этой вечной женственности. И явившийся в финале Христос совершенно естественно поднимает и утверждает эту вознесенную, повторяю, уже над историей, над современной Блоку историей, правду. Да, именно он бросает свой отсвет и на Катюшку, и на других персонажей «Двенадцати», и на самый образ двенадцати. В Евангелии апостолы и в книге «Деяния апостолов», они всё же не вполне являют и вновь открывают миру истины, проповедуемые Христом, его жизнью и смертью. Новый Завет поправляет, восполняет эту тему «Апокалипсиса» Иоанна, любимого ученика Христа. Не того, кому он поручил создание церкви, но того, кто именем Христа судит все существовавшие тогда, когда он создавал «Апокалипсис», церкви. Он их судит, он видит их слабости, он видит их силу, правду. Но последний итоговый голос в Ветхом

Завете принадлежит Иоанну, не Петру. И не другим апостолам. И в «Апокалипсисе» Блока, поэме «Двенадцать», правда за Христом, а не за двенадцатью, хотя двенадцать идут вслед за ним. Так вот соединились очень важные для русской духовности, русской литературы, темы, возмещавшие отсутствие главной одухотворяющей темы Беатриче, вечной женственности.

Но вот у Маяковского это тема явилась совершенно поразительным, заземленным, казалось бы, и тоже грандиозным по лирической силе, мотиве любви. Немыслимой любви, как сказано в поэме «Человек». А в евангелии Маяковского, в поэме «Про это», где мотив голгофы становится центральным, она обретает особое, снижающее тему Беатриче, звучание. «Может быть, /дорожкой зоологических аллей /и она – она зверей любила – /тоже ступит в сад, /улыбаясь, /как на карточке в столе. /Она красивая – /её, наверно, воскресят». Христос есть в поэме. Это лирический герой, переживший голгофу и заслуживающий воскрешения в будущем, в тридцатом веке. А Беатриче развенчана. И всё равно она существует, и всё равно существует любовь.

Нынче недолюбленное /наверстаем
звездностью бесчисленных ночей.
Воскреси /хотя б за то, /что я /поэтом
звал тебя, /откинув будничную чушь!
Воскреси меня /хотя б за это!
Воскреси – /свое дожить хочу!
Чтоб не было любви – служанки
замужеств, /похоти, /хлебов.
Постели прокляв, /встав с лежанки,
чтоб всей вселенной шла любовь.

Это дантовский мотив. Любовь, которая движет солнце и другие светила, чем закончена «Божественная комедия». Мы видим, что в литературе тема Беатриче, казалось бы, не осуществилась у нас. И всё равно, она живёт, она перевоплощается, она пресуществляется. У Есенина тоже можно найти дантовские мотивы: «Зерна глаз твоих осыпались, увяли. Имя тонкое растаяло как звук, но остался в складках смятой шали запах меда от невинных рук».

Но у всех, кто последовал за Гоголем, не только у Чехова, у всех, так или иначе тема Беатриче становится темой России. «Но более всего любовь к родному краю меня томила, мучила и жгла», – так сказано у Есенина. И Русь, Россия становится, и сегодня этот смысл заново рождается, она становится особым, необъятным, как Беатриче, несказанно олицетворением того высшего смысла, того высшего блаженства, той истины, которая приближает к Христу. Ну, себя я отнюдь не ставлю в ряд великих. И всё же изнутри я чувствую движение этой темы, завещанной Пушкиным и Гоголем. В моей поэме «Данте» три части. Но есть и четвёртая, которая называется «Россией». Правда, уже в третьей части я по-своему попытался сказать об этом. Там кончается тем, что рай это возвращение на нашу Землю, это та несказанная любовь, которая даёт вновь возможность пережить ушедшие лучшие мгновения моего земного бытия. «О, Русь, моё сверкающее лето./ Янтарный полдень, жгучая пора». И образ матери оказывается созвучным этой теме:

Ее улыбка и черты
Асимметричны как распятые.
Серпов и молотов кресты
Осыпали платок и платье.

Ее земное существо
Явилось вновь
За десять лет до моего
Рождения на этом свете.

Как долго я понять не мог,
Что на отцовской акварели
Её глаза давно прозрели
И рассмотрели мой итог.

Наверно, матери видней,
Как, сочиняя эти строфы,
Дойти до собственной Голгофы
И тихо умереть на ней.

Но мать неколебима в том,
Что даже если будут плохи
Серпы и молоты эпохи,

Жить можно и под их крестом.

Она ведь ошибалась, да?

И я уж с этой мыслью свыкся...

Но мать глядит с улыбкой сфинкса,

Ассиметричной, как тогда.

И вот, после такого признания в третьей части моего «Данте» естественна четвертая часть, которая так и называется «Россия». И там прямо сказано о том, что её нужно искать. К ней нужно выходить из современного леса блужданий, заблуждений, гибели. У меня в поэме «Россия» поиск её совершается уже после того, как бытие завершилось. Но Богом даны ещё две недели. «Ничего не изменилось /Ни в Петербурге, ни в Москве». Но лирический герой идёт на поиски уходящей Вечной Женственности, туда, «где взрывается последний атом, /Горит последняя изба». Но это, разумеется, только для меня. Никому не признаюсь в том, что я попытался сейчас сказать. В той попытке встать в общий, завещанный Пушкиным и Гоголем, ряд. Это только для меня. Но во всяком случае, ясно, что тема эта должна вновь явиться. Её ипостасное возрождение предчувствуемо всем существом, всем моим существом. Она должна вновь прийти. Ибо, несмотря на то, что касались её такие лучшие на нашей земле поэты, она так и осталась ещё неосуществленной. Она так еще и не воплотилась сполна. А именно сейчас Русь, Россия, Вечная Женственность, истины кажется ускользающей, уходящей, распадающейся. Поэтому именно сейчас нужно ипостасное вновь рождение этой темы, этой правды. В литературе. В поэзии. В духовном, завещанном будущему, слове.

... Я забыл строфу стихотворения. А уже сколько раз читал его по памяти и неточно. Надо перечитывать собственное. Не «её живое существо» явилось, а «её земное существо /Запечатлелась на портрете /За десять лет до моего /Рождения на этом свете». Земное существо. Значит, есть и неземное. Есть то, что не вернуть. Или вернуть все же? Да, акварель, где отец изобразил мою маму в платке с серпами и молотами, она сейчас в Русском музее. И она уже стала знаменитой. Сколько раз её воспроизводили в репродукциях, фотографиях. Но это олицетворение, действительно, явилось мне как-то на занятии со студентами Института народов Крайнего Севера, где я предложил всем, в том числе и себе самому, попытку сказать о своей родине, воплотив

её в женском образе. Студенты написали, каждый о своём народе, о своей родной земле, глядящей живыми глазами. А я написал тогда же, прямо на занятии, эти строки. Итак, «земное существо запечатлелось на портрете». Я очень мало до сих пор сказал о моей матери. Правда, вот это стихотворение вернуло меня в литературу. Я не печатал своих стихов, свои стихи не печатал уже много десятилетий. После первых публикаций, которые были у меня в конце пятидесятих годов. И вот – это первый текст, которым я вернулся в печать. Само стихотворение это очень много раз уже печаталось и отдельно, и в особом цикле. И я не замечал разницы между вариантами «земное существо» и «ее живое существо». И тот и другой вариант, наверное, для меня важны, но всё-таки в том размышлении, в том разговоре с самим собою, который я веду сейчас, эпитет «земное» более точен. Жаль, что мама не знает этого стихотворения. В нём предсказаны мои испытания. Там говорится о голгофе: «Наверно, матери видней, /Как, сочиняя эти строфы, /Дойти до собственной Голгофы /И тихо умереть на ней». Вот сейчас я на этой собственной голгофе. И попробую тихо умереть, став другой своей ипостасью. Вера моя подвергнута сомнению. Мой Противоречащий молчит. Я за него противоречу самому себе. Тихо умереть. Не перейти в иную ипостась. В этом стихотворении сказано: тихо умереть на этой голгофе. Я уже на ней не один день и не один месяц. Для меня потеря зрения, да, это точно, я верно сказал самому себе, потеря зрения это смерть. Но это мгновение мне представлялось совсем иначе. Я сижу вот в этом же своём кабинете, среди этих книг. Не только тех, которые стоят на полках, но и моих собственных. Вот они лежат передо мною. И свободно путешествую в этом ипостасном мире. И везде, так или иначе, встречаюсь с самим собой, и даже в своих собственных книгах тоже, оказывается, происходит эта встреча. Может быть, менее глубокая, чем встреча в других книгах, которые я собирал всю жизнь. И вот много голосов, много образов, много строф, много строчек. И всё это внушает мне сознание, что это я. И нужно только постараться себя узнать. Нет, не приравнять к великим, ни в коем случае. Узнать в этих великих книгах что-то не только моё, но что-то такое, что и есть я. Узнать своё ипостасное существование, которое кроме меня никто не определит, никто не обнаружит. И если я этого не сделаю сам и не попытаюсь как-то, каким-то более-менее точным словом это обозначить и выразить, то всё это уйдёт. Уйдёт в то, что обычно называют небытием, а на самом деле – это

невысказанная, невыявленная ипостасность. И вот в один из таких моментов встречи с самим собою вдруг жизнь прервется. И прервется неожиданно для меня и незаметно. Страшно или радостно думать об этом, но я надеялся, что это будет именно так. А на самом деле – тихо умереть на голгофе, то есть, умирая, чувствовать голгофу, чувствовать боль от тех гвоздей, которые пронзили мои ладони. Переживать то состояние, в котором сам Христос воскликнул: «Боже! Зачем ты меня оставил». Он умер не тихо, бросив этот возглас за какую-то секунду до смерти. До того, как прервалась его земная ипостась. Я переживаю что-то подобное. Но это длится не мгновение, вот уже третий месяц ежедневного сознания того, что со мной происходит. Казалось бы, страшнее этого в жизни человека, который замкнут на себе самом, страшнее этого ничего нет. На самом деле, это не самое страшное. И понял я это только тогда, когда то, на что я надеялся как на мгновение, незаметное для меня, длится. И длится осознанно.

Я всматриваюсь в это, как всматривается обычно живое существо. В обыденность своего бытия. Ежедневно, ежеутренно, еженощно. Всматриваюсь и не боюсь. Видимо, потому что я проделал тот путь, который совершил в разговоре с самим собой. Вот всё то, что записано с помощью вот этого диктофона, потому что я не могу сейчас это делать иначе. Я не могу ни читать, ни писать. И несу в себе это невыносимое сознание непрерывно, прерываясь только сном. Сном без снов. А иногда и таким сном, где я вижу себя самого, встречаю себя самого. Этого, который тихо умирает. Умирает на голгофе. Когда я сочинял эти строфы стихотворения, ничего этого ещё не было. Но я удивляюсь сейчас, как в моих несовершенных строчках точно отразилось то состояние, которое я переживаю. Я его не боюсь, потому что чувствую, что происходит нечто такое, что я вообразить даже не мог. Совершается переход. И мне дано осознать то, что не должно осознавать. То, что не должно осознавать, потому что обычно это мгновение. Порой разрешающее невыносимую муку бытия от болезней, от горя, от отчаяния. Всё равно, это самое мгновение предназначено к тому, чтобы не быть осознанным. А мне дано его осознавать. Оно длится, оно возобновляется. Ведь каждый день – ипостась этого мгновения. Я ощущаю всем своим существом ипостасность моего продвижения туда. Где уже нет этого земного существа, нет этой земной ипостаси. Там другое. Там то, что я вижу вокруг себя. И наконец, я смогу проникнуть по-настоящему внутрь того, что вне

меня, стать им, стать миром. Или, вернее, мир тогда станет мною. И я этого не боюсь. И образ матери оказывается для меня чем-то это столь же близким мне, как образ Беатриче тому, кто его создал. Данте о матери не вспомнил ни разу. Ни о матери, ни об отце. Все отдано Беатриче. Есть только несколько стихотворений в цикле, посвященном Пьетре, каменной даме, в которую он был влюблен и за которую его упрекала Беатриче во время встречи в чистилище. Где её душа подвергала муке раскаяния поэта. У него не было этих образов – ни матери, ни отца. Я счастлив тем, что и они – это я, встречающийся с самим собою, что и они ипостасны мне. Об этом обязательно надо написать, успеть написать за эти мучительные, длящиеся дни голгофы, потому что, кажется, что о таком ипостасном сродстве не писал никто.

2 декабря 2019

Если настоящая книга ипостасна бытию, то, значит, все великие книги ипостасны друг другу. И вот удивительный пример тому. До «Божественной комедии» и после «Божественной комедии» не было такого свершения, связанного с женским образом, который поставлен поэтом в центр мира. Вот Гомер. 2 поэмы. В той и в другой женщина оказывается, казалось бы, в центре событий. В «Илиаде» Елена прекрасная. Мы помним, как она появилась на стене Трои, в самом начале «Илиады». И как старцы, увидев эту красоту, я своими словами очень условно передаю то, в чём они согласились друг с другом. Да, ради такой красоты возможна война. И вместе с тем, у Гомера Елена – причина всех событий, о которых идёт рассказ, всё равно не стоит в центре мира. Она причина страшных событий, но она не олицетворение той правды, ради которой и с помощью которой устраивается жизнь вокруг. В «Илиаде» поэтому есть ещё одна женщина, которую мы совершенно не видим, которая, появившись в первой песне поэмы, потом исчезает совсем и забыта. Хотя она причина всего того цикла событий, о которых повествует «Илиада». Это Хризеида, дочь жреца Аполлона Хриза. Которая, как военная добыча, досталась Ахиллу и которую насильственно и властительно исторг из кущи Ахилла Агамемнон взамен другой женщины-рабыни, военной добычи, Бризеиды. Вернее, наоборот, я ошибся. Хризеиду Агамемнону пришлось отдать жрецу Аполлона, ибо отказ Агамемнона

породил болезнь, что-то вроде чумы, которую наслал гневный Аполлон, к кому обратился Хриз, оскорблённый Агамемноном. Вот её пришлось отдать жрецу. И Агамемнон, который волею судьбы был поставлен над другими царями, как царь ахейских царей на время войны, после спора с Ахиллом исторг Бризеиду, рабыню, из кущи Ахилла. Но я недаром перепутал эти два имени и два образа, которые вообще не были чётко обозначены Гомером, только имена. И только то, что они женщины; только то, что они рабыни; только то, что и та, и другая – военная добыча героев во время войны. Причина, но не центр мира. Причина гнева Ахилла, ответного, на поступок Агамемнона, и причина всех событий. Хризеида и Бризеида, которых по воле богов Ахилл должен был отдать Агамемнону, затаив и выразив, вернее, прямо выразив свой гнев и отказавшись участвовать в войне. Что привело ко всем эпизодам войны, к войне людей и богов на троянском поле, к смерти Гектора. И к завершающему эпизоду – посещение Ахилла Приамом и погребение Гектора в Трое. Итак, причина войны – Елена, а причины эпизодов, составивших содержание всей поэмы, случившихся на десятом году Троянской войны – вот две женщины, две рабыни. Хризеида и Бризеида.

Как далеко до Беатриче Данте. Казалось бы, совсем неизмеримое пространство. В «Одиссее» тоже женщина – одна из причин всех событий. Это Пенелопа, жена Одиссея, сохранившая ему верность. Она, как и сын Одиссея Телемак, – причина путешествий Одиссея, его возвращения домой и всех событий, завершающихся избиением женихов, претендовавших на руку Пенелопы и отвергнутых ею. И мир, который завершает всю поэму, – по воле богини Афины. Как сказать? Неужели Афина в «Одиссее» – это то женственное воплощение правды, справедливости, мира? Афина, богиня мудрости и воительница за мудрость, соединяющая в себе духовное и героическое, но всё же богиня, вознесенная над событиями «Одиссеи». Опять таки, женщина – причина многого, о чём идёт рассказ, но не центр мира. Любопытно, что в «Махабхарате», индусской эпосе, мудрость богов целиком перевоплочена в человеческом облике. Там тоже женщина оказывается одной из причин событий. Кришна, жена пандавов, оскорблённая кауравом Дурьотханой, – исходное событие, завязка дальнейших происшествий. Подготовки страшной войны, свершения этой войны. Причем, войны, в которой, казалось бы, весь мир должен

содрогнуться, если не погибнуть, с использованием того страшного оружия, которое Эйнштейну напомнило об атомной бомбе, к созданию которой он был причастен. И все равно, Кришна тоже не центр мира в «Махабхарате». Одна из причин.

В грандиозном ветхозаветном и, естественно, как продолжения ветхозаветного, новозаветном повествовании женщина обретает совсем особый смысл. Она тоже причина и, больше того, вина всех событий человеческого бытия. Это Ева, совершившая грехопадение и вовлекшая в это грехопадение Адама. И Христос своим подвигом, своей крестной мукой снимает с человечества тот грех, который породила она. Опять причина, но не центр бытия. Есть, правда, в «Ветхом Завете» книга, равноценная античным поэтическим и даже философским текстам. Это «Песнь песней». И Суламифь, героиня книги. Роскошь земных, телесных образов, в которые одета эта великая песнь, действительно, кажется, ставят женщину в центр бытия. «Реки многие не могут погасить любви. Если кто отдаст всё имение своё за любовь, уничижением будет отвергнут». «Крепка, как смерть, любовь. Жестока (церковнославянский), жестока, яко ад, ревность. Крылы ея крылы огня. Углие огненно пламы ея. Вода много не может угасить любви. И реки не потопят ея. Аще даст муж все имение своё за любовь, уничижением унижат его». Но недаром «Песнь песней» оказывается лишь одной из книг и даже книгой, которая требует особого истолкования, чтобы можно было оправдать её каноническое присутствие в «Ветхом Завете». И вот получается, что если забыть сейчас о рыцарских романах, о песнях трубадуров, подготовивших образ Беатриче в «Божественной комедии», то, действительно, получается, что до Данте не было такого женского образа. И после Данте ни один из поэтов не создал нечто равнозначное, равноистинное, равнодуховное. То, что заставило Гете создать формулу вечной женственности. Это, конечно, оглядка на Данте.

В нашей поэзии в ранней оде Державина, нет, это не ранняя ода, уже созданная в зрелый период, ода «Рождение красоты», в девяностые годы 18 столетия, есть подступ к этой теме. И тоже он лишь по-своему соизмерим с дантовским образом:

Сотворя Зевес вселенну,
Звал богов всех на обед.
Вкруг нектара чашу пенну

Разносил им Ганимед; ...

Но незапно как-то взоры
Обратил Зевес на мир;
И увидя царства, грады,
Что погибли от боёв;
Что Богини мещут взгляды
На беднейших пастухов.

Это намёк на историю Троянской войны, суд Париса. Зевс, уже увидев как бы с высоты Олимпа события «Илиады», готов уничтожить весь мир. Но вспомнив о женщинах, к которым он был равнодушен, отвергает прежнюю, ведущую к войне Богиню любви. И вместо неё создает другую. Здесь чисто античный, гениально почувствованный Державиным образ. Из различных враждующих стихий создается единый образ женской красоты, который одним взглядом своим побеждает войну, побеждает катастрофу задуманного Зевсом возмездия земле. А до этого он, Зевс,

Распалился столько гневом,
Что курчавой головой
Покачав, шатнул всем небом,
Адом, морем и землей.
Вмиг сокрылся блеск глазурия:
Тьма с бровей, огонь с очес,
Вихорь с риз его, и буря
Восшумела от небес;
Раздавались всюду громы,
Мрак во пламени горел,
Яры волны – будто холмы,
Понт стремился и ревел;
В растворенны бездн утробы
Тартар искры извергал;
В тучи Феб, как в чёрны гробы,
Погруженный трепетал;
И средь страшной той тревоги
Коль еще бы грянул гром, -
Мир, Олимп, богов чертоги

Повернулись бы вверх дном.

Здесь образно названы основные элементы, как говорили в Древней Греции, стихии, которые находятся в противоборстве друг с другом: огонь, земля, воздух. И эти силы Зевс-творец объединяет в образе и в естестве новой богини красоты и любви.

Ввил в власы пески златые (земля),
 Пламя в щеки и уста (огонь),
 Небо – в очи голубые,
 Пену – в грудь (вода), и Красота
 Вмиг из волн морских родилась.
 А взглянула лишь она,
 Тотчас буря укротилась
 И настала тишина.

Образ, созданный Державиным, совсем в духе античной пластики, словесной живописи, с тем самым сюжетным началом в описаниях, о которых писал Лессинг в своем «Лаокооне», и который так гениально применил Гомер в описании щита Ахилла. Вот, Державин всё это творчески, органично освоил и усвоил и создал отсутствовавшие вообще-то в античной поэзии, и у Анакреона, образ красоты. И действительно, в этом стихотворении, где анакреонтика и гомеровское величие, как ещё Белинский заметил, на равных соединились, «курчавой головой покачав, шатнул всем небом, адом, морем и землёй».

А у Гомера: «и сотрясся Олимп многохолмный» от того, как Зевс, «помовая бровями», дал согласие Фетиде на то, что он станет на сторону Ахилла. «Власы поднялись у Кронида окрест бессмертной главы и сотрясся Олимп многохолмный». Вот эта гомеровское величие и анакреонтическая шутка, изящество, эта особая, нежная, земная пластика анакреонтических образов соединились на равных в стихотворении. И в этом стихотворении, действительно, женская красота в центре. Но это некое исключение. В самой поэзии Державина только в цикле «Анакреонтические песни» женщина занимает некое условное, особое место. И конечно, те образы – совершенно другой природы, чем Беатриче Данте. И это Пушкин, прекрасно чувствовавший анакреонтическую природу своей собственной ..., в стихотворении «В начале жизни школу помню я», эту особую изящную,

явившую образец красоты, женственную природу анакреонтизма, поднял на совсем особую высоту, сопоставив с величавой женою, которая правила школой. И хранила надзор над отроками этой школы. У которой «очи светлые как небеса», у которой «чистое светлое чело под покрывалом, полные святыни словеса». Это образ, как раз соотносимый с Беатриче. Вот, как мы уже говорили раньше, как я уже сказал самому себе недавно, такой образ, отчасти воссоздававший дантовский лик Беатриче, не нашёл в дальнейшем воплощения. Может быть, отчасти потому, что онтологические стихи, воссоздававшие пластику античной поэзии, были оттеснены гражданскими стихами. Однако, значение онтологической поэзии Майкова, а до него Батюшкова, ещё требует особого разговора и особой оценки в этой связи.

Вот, проблема осталась нерешенной. И поэтому более поздние попытки тоже очень значительны и, вместе с тем, не они определяют сущность утверждения того идеала, который для Данте был связан с Беатриче. Женщина оказывается не на той высоте. У Маяковского прямо сказано: «тебя люблю, покрашенную, рыжую». И вместе с тем, сказано, в поэме «Флейта-позвоночник»: «А Бог такую из пекловых глубин, что перед нею гора заволнуется и дрогнет, вывел и велел: люби». И тут же сказано в обращении к Богу: «Хочешь, четвертуй. Я сам тебе, Боже, руки вымою. Только слышишь, убери проклятую, ту, которую сделал моей любимой». Именно такой она предстаёт и в «Про это». Она обманывает героя поэмы. Он звонит ей по телефону. Она даже не подходит к нему. И только кухарке велено сказать, что она больна. На самом деле, она весело, с гостем, которое её посещает, идёт и идёт к ней, встречает Рождество. И между нею, с её праздником Рождества и с этой подменяющей Евангелие рождественской елкой, и поэтом, который как бы на другом конце вселенной мучается, страдает и предвкушает будущую голгофу, целая бездна. Целая бездна. «Через вселенную легла Мясницкая /Миниатюрой кости слоновой». Поэт не перестаёт её любить всё равно. И мы уже говорили о том, что ее образ возникает в самом конце поэмы: «она зверей любила». И вот она вступит в сад, куда, может быть, воскрешенного поэта пригласят как сторожа. И там они встретятся. «Нынче недолюбленное наверстаем звездностью бесчисленных ночей». Здесь, действительно, поднята тема любви до вселенской силы и правды. Но это любовь поэта. И, может быть, на

высоте этой фантастической метафоры она, действительно, встречает ответное чувство: «нынче недолюбленное наверстаем звездностью бесчисленных ночей». Любовь, которая идёт всей вселенной, – это любовь, которой женщина преодолела власть Повелителя всего и стала вровень с поэтом. Всё равно, это не Беатриче. Ну, а что касается грешного меня, то у меня нет этой темы. Россия – да, одно из ипостасных воплощений Вечной Женственности. Это далеко не то, что гениально воплощено, олицетворено у Данте. Это совершенно понятно. А вместе с тем, напрасно я не попытался сказать о любви ни к матери, ни к отцу. Это особый разговор. Мы ещё к нему вернемся. А к той женщине, которая прошла со мною и проходит ещё не довершенную всю мою жизнь, по-настоящему о ней ничего ещё не сказано мною. Ну, есть в повестях, повести «Поединок», несколько страниц. Есть строки в поэме «Экклезиаст», самой последней, есть строфы в поэме «Россия». Всё равно, для того, чтобы мой, недостойный стоять рядом с великими, но всё же мой живой поэтический мир состоялся, мне нужно сказать то самое особое слово о любви, которое до сих пор ещё не сказано.

3 декабря 2019

Почему мы молчим о самом важном для нас? О том, во что верим. Конечно, были те, кто говорил. И не только один Данте. Все, кто серьёзно, по-настоящему жил душою, так или иначе проговаривался, пытался сказать. И все равно получалось так, что молчание было той формой молитвы, которой каждый почитал свою веру. Пушкин, мой учитель, прекрасный тому пример. И об этом, по-моему, еще не было сказано и написано. Если его утаённая любовь была тем его состоянием, о котором он всё-таки сумел молчать всю свою жизнь, то это удивительно. Трудно найти даже слова, чтобы передать то волнение, которое я испытываю, когда ещё и ещё раз возвращаюсь к этому его замыслу, я думаю, точно угаданному мною, – создать свою «Божественную комедию». И всему миру сказать о своей Беатриче. Что бы ни было, какие бы мысли, какие бы состояния ни овладевали душою поэта, какие бы его замыслы ни возникали в тридцатые годы, когда он думал только одной силой своего гения утвердить себя в мире. Какие бы замыслы, какие бы образы, какие бы гости ни посещали его, какие бы плоды его мечты – всё равно невысказанная, утаенная любовь была главным. И она не была

выражена в слове. Это Пушкин (!) не выразил её. А ведь именно он мог бы это сделать.

Всё, что он делал по следам других великих, открывал новые миры по следам гения, как он сам выражался (так он называл попытку подражания, творческого подражания), всё, что он делал, всё, к чему прикасался, он делал лучше, чем те, кто вызывал его на такое подражание. Это не было подражание на самом деле. Слово здесь другое. И Пушкин скромно удалил это слово. Вот – что бы он ни делал, что бы он ни открывал по следам гения, он делал лучше, чем в своё время делал этот гений. Отрывочек из «Неистового Роланда»: «Пред рыцарем блестит водами ручей, прозрачнее стекла. Природа милыми цветами тенистый берег убрала и обсадила древесами» – этот отрывок из поэмы «Неистовый Роланд» Людовика Ариосто лучше, чем вся поэма Ариосто. Я уже говорил себе, что мечтал в детстве перевести её всю октавами, а не размером «Руслана и Людмилы», как это сделал Пушкин в тридцатые годы. Я даже начал переводить, и у меня где-то затерялся этот детский листочек с октавами. Как раз по тому самому отрывку, который переложил Пушкин. Но я не сделал этот перевод. И дальше только мечтал о нем, но не возвращался к нему. Потому что при всей небрежности пушкинского наброска он – само совершенство, он – самая суть этой удивительной, свободной, провозглашающей творческую свободу рыцарской поэмы. «Гуляя, он на деревьях повсюду надписи встречает. Он с удивлением в сих чертах знакомый почерк замечает. Невольный страх его влечёт. Он руку милой узнаёт». Все строчки этого отрывка вбирают в себя красоту, свободу. Эту способность предаваться игре воображения, которая так прекрасна у Ариосто и так гениально отразилась в рисунках Доре к поэме. Но не только этот отрывок лучше Ариосто. «Евгений Онегин» в чем-то лучше «Дон Жуана» Байрона. Маленькие трагедии в чем-то лучше Шекспира. И «Борис Годунов» лучше шекспировских хроник. И так можно перелистать всего Пушкина. «Подражание Корану» лучше Корана. «Пророк» прекраснее и лучше ветхозаветных книг. Кусочек, несколько строк из «Песни песней». Да, даже этот набросок лучше самой «Песни песней». Согласен, что-то субъективное есть в том, что я сейчас говорю. Мое особое пристрастие к Пушкину, не разделяемое всем человечеством, которое в мире нерусскоязычности Пушкина просто не знает. А в моей субъективности есть своя правда; правда, особенно мне предназначенная мною самим. Хотя так

же считал и мой дядюшка Самохвалов. Он говорил еще до того, как занялся не совсем удачными иллюстрациями к «Евгению Онегину», послушав мой детский перевод из «Неистового Роланда». Помнится, в гостях у своего брата дядя Бори, где я решился прочитать свои октавы, октавы моего перевода, он свободно, красиво, а было это где-то в 46 году, стал говорить о том, насколько Пушкин прекраснее Байрона.

И вот перед ним встала задача, перед Пушкиным, встала в 30 году задача написать свою «Божественную комедию» лучше, чем это сделал Данте. И он не решился на такой поэтический подвиг, на подвиг того подражания. Он попробовал сначала сделать вступление, потом немножко поиграть воображением, рисуя отдельные впечатления от ада, в который он должен проникнуть. «И дале мы пошли – и страх объял меня. /Бесёнок, под себя поджав свое копыто, /Крутил ростовщика у адского огня». Великолепные терцины были, конечно, лучше дантовских, – если учесть, что автор «Божественной комедии» создавал итальянский литературный язык и стиль, а Пушкин был на вершине совершенства русского языка и стиха, и сам открывал эту вершину. И всё же, эти наброски, один вполне шуточный: «Горячий капал жир в копченое корыто, /И лопал на огне печеный ростовщик». Я спросил: «Учитель мой, в сей казни что сокрыто?» И он в ответ: «Мой сын, сей казни смысл велик: /Одно стяжание всегда имел в предмете, /Жир должников своих сосал сей злой старик /И их безжалостно вертел на вашем свете». /Тут грешник жареный протяжно возопил: /«О, если б я сейчас тонул в холодный Лете! /О, если б зимний дождь мне кожу остудил! Сто на сто я терплю: процент невероятный!» – /Тут звучно лопнул он, – я взоры потупил». И так далее, до конца отрывка. Пушкин испытывал особый интерес к чертям, к бесам. И это, оказывается, тоже часть его ада, который он мог раскрыть и мог показать лучше, чем Данте. Но это – шутивная зарисовка, с тем особым юмором, который он подслушал у Данте. Его бесы, в том кругу, где грешников купают в кипящей смоле, обрисованы тоже с юмором. И поступки их и даже их имена, всё так. Пушкин это мог сделать лучше, – применяя, разумеется, к тем реалиям своей, современной ему жизни, как это делал Данте в своем времени и для своего времени. Власть ростовщиков была ему ненавистна так же, как Данте. Уже хотя бы потому, что он не мог не признать их ежедневно совершавшуюся победу, их внедрение в жизнь, их торжество над жизнью. Но это была шутка. Серьезная

шутка. Это не просто пародия на Данте, как иногда пишут. Это именно серьезная, по-дантовски серьезная, но по-пушкински более совершенная шутка. Но тут же следовал и другой отрывок. Страшный. «Тогда я демонов увидел черный рой, /Подобный издали ватаге муравьиной – /И бесы тешились проклятою игрой: /До свода адского касалась вершиной/ Гора стеклянная, как Арарат остра – /И бесы, раскалив, как жар, чугун ядра,/ Пустили вниз его смердящими когтями; /Ядро запрыгало – и гладкая гора,/ Звеня, рассыпалась колючими звездами. /Тогда других бесов неукротимый рой /На жертву кинулись с ужасными словами. /Схватили под руку жену с её сестрой. /И заголили их, и вниз спустили с криком – /И обе сидючи пустились вниз стрелой... /Порыв отчаяния я внял в их вопле диком; /Стекло их резало, впивалось в тело им – /А бесы прыгали в веселии великом. /Я издали глядел – смущением томим».

Это попытка нарисовать серьёзные, уже без юмора, страшные картины ада. И когда он делал своё «Подражание итальянскому» – «как с древа сорвался предатель ученик», страшная картина, конечно, была по следам последних песен ада. И той песни, где был нарисован образ Люцифера. Как это у Данте в переводе Голованова, лучшим, чем Лозинского: «И плакал Дис кровавыми слезами, с кровавою слюною на устах». У Пушкина всё равно лучше. Бесы схватили покончившего с собой, удавившегося Иуду и понесли его к проклятому владыке. «И сатана, привстав, с веселием на лице/ Лобзанием своим насквозь прожег уста, /В предательскую ночь лобзавшие Христа». Это, наверное, лучше, чем дантовский образ Люцифера. А это было подражание другому итальянскому поэту. Пушкин мог, Боже мой, как и сколько он мог! И вот тогда, если бы он это сделал более совершенно, чем его великий предшественник (а он сделал бы это именно так), он выразил бы в слове свою утаённую любовь. Ведь это ошибочное суждение о том, что самой сильной частью «Божественной комедии» остаётся «Ад». Я в детстве с особым чувством благоговения и восторга читал в переводе Мина «Чистилище». А что касается терцин «Рая», то их ещё нужно открыть – музыкой тех образов, которые воплощены в этих терцинах. Чем схоластичнее некоторые размышления, тем прекрасней передает чувство любви к Беатриче. И вот это всё, несмотря на то, что это недостижимо прекрасно, могло стать еще прекраснее под пером Пушкина.

Да, я всё-таки думаю, что он не отказался от своего замысла, даже подарив идею Гоголю. Он не успел. И вот почему чисто сыновним, очень скромным, каким-то особенно невысказанным чувством я был приведён к попытке написать своего «Данте». И что же? У меня и ад, и чистилище, и рай уравновесились. В загробном мире произошел некий взрыв, некое смещение и преодоление границ. И что же? Таким образом, я всё равно молчал о том главном, во что верил и верю? И неужели это несказанное кто-то сможет прочитать в моих очень несовершенных строфах? Пусть будет так. Пусть никто ничего не прочтет. Пусть так и останется моё главное. То, о чём мне так и не удалось сказать, пусть оно останется тайной. Но попытка эту тайну раскрыть, оказывается, была. Это я говорю самому себе. Одна из человеческих душ, где-то способная чувствовать, сочувствовать и сопереживать, глубоко, особенно близко к себе, приняла некоторые мои строчки, где говорится об особой душе. «Загробный мир не для неё, /А незагробный мир подавно. /Единственная из теней, кого /Я всей душой принял». Здесь была попытка сказать о том, что не сказано. Конечно, я не посвящал кому-то эти строки. А если посвящал, то не той душе, которая приняла их к себе. Я думал, чувствовал, грезил о чём-то другом. А то, о чём я грезил, было рядом со мной. Оно и прошептало мне эти строчки. И я помню тот момент, когда это произошло. У нас там, в поселке Низовская, в этом домике на чердаке, где я и писал своего «Данте». Там эти своды, этот потолок из реек, это окно, этот стол, стоящий у окна параллельно стенам чердака, помнят это мгновение. И может быть, может быть, всё-таки оно ипостасно вернётся ко мне. И я найду в себе силы, по следам моего Пушкина, без его возможностей, но продолжить его и довершить то, о чем он поневоле умолчал для меня и для всех. И всё же, почему мы молчим о том, во что верим по-настоящему, утаенно, невысказанно? Почему мы молчим о том, во что верим?

4 декабря 2019

Любовь, осознанная Пришвиным – «Фацелии», «Женьшень», «Лесная капель», «Глаза Земли». Маргарита – Булгакова из романа о Мастере. Дуня – из романа Леонова «Пирамида». Да и Прекрасная дама – Блока. Это всё образы, говорящие о великой потребности в том образе вечной

женственности, которая по-настоящему в нашей литературе еще не состоялась. Это всё своеобразная форма умолчания о том, что ещё не облечено правдой слова. И вот, я стою, держа перед собой зеркало своей души и спрашиваю себя: «Неужели и я уйду, не сказав то слово, которого ждёт моя душа. Любовь к сыну, скорбь, соединяющая меня с ним теперь – это тоже форма умолчания о великой любви, в которой смысл бытия, спасение? Дуня в романе «Пирамида» спасает землю от возможной апокалиптической гибели, ибо ангел Дымков послан на землю с тем, чтобы установить – будет продолжено земное бытие или нет. Она спасает землю. Маргарита Булгакова по-своему спасает Мастера. Она помещает его в лимбе, в этом особом мире за чертой бытия, где нет света, но есть покой. Это, конечно, дантовский образ, образ лимба, первого круга ада. Но всё же там лучшие люди мира. Их вина лишь в том, что они не знали Христа. Не могли знать. Мастер Булгакова не только мог знать, но он создаёт своё гениальное Евангелие о добром философе. То есть, как он полагает, ему открыто истинное явление Христа в мир. Он и в самом деле – истина и путь. И всё же он, видимо, не знает Христа, ибо он не даёт ему света за чертой бытия. Пришвинская «Фацелия» – любовь не отвечает чувству, ожиданию и порыву поэта. Ну, стихотворение в прозе «Тяга» об этом. Но об этом и вся книга «Глаза Земли», где к этой, по-своему утаенной, любви, вроде бы, Пришвин не возвращается. На самом деле, она живёт почти в каждом стихотворении в прозе. «Но она не пришла, как не прилетел вальдшнеп на тяге». И Пришвин пишет: «Вальдшнеп уже не прилетит. Тоска и боль охватила душу. Охотник, охотник, зачем ты тогда её не удержал, не схватил за копытца?». У Блока Россия, перевоплотившая в себе Прекрасную даму, апокалипсична в «Двенадцати». Россия это и Катька, и Петруха, и Ваня, и двенадцать, и Христос, идущий впереди. Гармония не достигнута нигде. Ибо и Дуня даже из романа «Пирамида» лишь в душе хранит благую весть о Дымкове, об ангеле. И весь мир, по ее молитвенному повелению, брошенному вслед развоплощающемуся ангелу, вот эта молитва повеления отделяет Дуню от всего остального мира людей. «Пусть все забудут, пусть только в душе Дуни останется эта благая весть». Нет, нигде, ни в одном из шедевров нашей литературы не сказано то слово. О котором я тоже мечтал всю жизнь, но так и не сказал. Или сказал – о сыне? И вместе с ним, о той, кто поделила мою боль, мою судьбу, мою жизнь и приближающуюся ко мне черту перехода в

иную ипостась. О ней я умолчал. И что же теперь? Неужели я готов собрать все силы души, чтобы ей посвятить это не сказанное слово? Поэма «Миша», в общем, вся посвящена ей. Там только начальные и завершающие стихи подводят к главному посвящению. А стихи, составляющие сердце этой поэмы, обращены к ней. Все. Но это недостаточно. Миша оттуда говорит мне о том, что это не всё, что надо сказать. Я в тишине утра, вслушиваясь в его голос и соглашаясь с его обращенной ко мне волей к тому, чтобы я не уходил, не сказав нужное, единственно не сказанное, никем не сказанное слово. Я боюсь, что так и случится. Я уйду в молчании. И самый уход мой будет молчание. Но конечно, я верю, что в этой или в иной ипостаси, в этой смене состояний, которая и есть бессмертие души, что-то совершится. И сегодняшняя моя молитва, обращённая к этой любви, несущая в себе эту любовь, эту невысказанную правду, что вот эта тихая молитва сегодняшнего утра моего когда-нибудь вызовет во мне те слова, которых просит мой сын.

5 декабря 2019

Ну вот, я и пришёл к началу моей жизни: «зачем бесчувственных рабов в стране так много накопилось?» Этот мой сон, где некий голос продиктовал мне эти строки, а я при этом видел мою даму сердца в виде некой фигуры, женской фигуры, которая протянула вниз свои сцепленные пальцами руки, как можно дальше от себя, и при этом наклонила голову, повернула голову куда-то вбок, чтобы видеть нечто такое, что не видно никому. Фигура, которая могла бы изобразить Дульсинею на гравюре Доре. Вот я и пришёл к самому началу. И уже потом была Беатриче Данте. И то, она не явилась мне. И до сих пор ее мерцающий образ встаёт передо мной как нечто несбывшееся, как нечто не посетившее меня священным и героическим безумием рыцаря. «С тех пор, как умер тот большой поэт, как я высокий, но в плечах пошире, с тех пор уже любви на свете нет, и нет великого поэта в мире». Это о Маяковском. Но и ему Беатриче не явилась: «тебя люблю, накрашенную, рыжую». Итак, вновь начало. И вновь начало как некая граница ипостасей. Та граница, за которой начнётся новая ипостась. Начнётся или уже жила и живёт. Просто я ещё не сумел выйти из моего существования и перейти в другую ипостась. И на этой границе всё происходит. Ну, так, как для материалиста совершается смерть. Последнее, что я вижу и чувствую, и

думаю – это последнее. То, чего никогда уже не случится в том состоянии, в том образе слышимого, видимого, мыслимого, какое ещё живёт на этой границе, – не будет никогда. Всё, что уходит из этой моей нынешней ипостаси, подаренной мне и имеющей конец.

Но на этой же границе я чувствую как некую цель иное существование. Не столько новое, сколько иное, просто иное. Для меня, разумеется, новое. Но в бытии не обязательно новое. В бытии, возможно, уже бывшее или существующее рядом, сейчас. Именно здесь вот, на этой границе по-настоящему чувствуешь всю силу не вполне выразившей себя, не вполне сказавшей о себе любви к миру. И чувствуешь это как нечто родное, как нечто тоже подаренное мне, вместе с рождением. И если можно было бы по-настоящему осознать этот дар. В детстве он даётся даром, в детстве, при рождении, в зачаточном бытии. А в конце времени, выделенном для ипостаси, это уже выстраданное, добытое – искусством, мудростью или безумием – знание о себе самом. Это уже то, что надо добыть и осознать и что, как правило, теряется на этой границе и не осознается. Та любовь, о которой не сказано и нигде ещё не сказано, – именно здесь. Экзистенциалисты в этом отношении правы, они прикоснулись к одной из тайн, правда, истолковали совершенно ложно. Остро («острый галльский смысл»), но неверно. Как чувство свободы в пограничной ситуации. Свобода свободой. А это не просто добытое, хотя бы на миг, на мгновение, пространство, где ты, наконец, поступил по своей воле.

А это неизмеримое, несказанное и подаренное тебе и добытое тобою – сила любви. То чувство, которое, как я это знаю, христианское, подлинно христианское по природе. Именно о нем Евангелие. Именно евангельское повествование, именно это благовествование есть благая весть о такой любви. И возглас Христа «Боже, Боже, зачем ты меня оставил?» – это последнее сопротивление ипостаси (земной ипостаси Христа, побеждающей и победно подаренной Христу, Богу сыну) – силе любви. Ипостась ещё сопротивляется, ипостась ещё напоминает Богу отцу о себе, она ещё просит его сохранить себя, пронести чашу, уже выпитую, чашу крестной муки. Но она уже состоялась; и потому возглас Христа, после которого он уронил голову на грудь и испустил дух, – оказывается победой. Оказывается этой несказанной, всеохватной силой и правдой любви. «Для кого на свете столько шири, /Столько муки и такая мощь? /Есть ли столько душ и жизней в

мире, /Столько поселений, рек и рощ?» Для кого на свете столько шири? Чем данное на этой границе пространство заполнено? Тем, кто испытывает муку распятия. Вот о чем вопрос. «Для кого на свете столько шири, столько муки и такая мощь?» Пастернак спрашивал об этом в стихотворении. А мне вот, как и каждому, который неизбежно приходит к этой границе, дана возможность ответить. И я буду отвечать. Но именно эта ширь, эта вдруг открывающаяся неизмеримость, неохватность пространства свободы вдруг оказывается любовью к Беатриче, которая всегда неотделимо была рядом. К той, которая выбрала эту судьбу – быть рядом, как будто заранее зная, каким будет конец ипостаси. С той, которая вытерпела все страдания, все несбывшиеся порывы души, всё то, что ограничивает её собственную свободу, её собственную ипостась, открывая возможность того высшего блаженства, которое я связываю с взаимопереходом одной ипостаси в другую. Да, для меня именно эта формула. Верование в бессмертие души без перехода, но только с выходом из своего земного существа, не знает этого высшего блаженства, этого несказанного, но ждущего точного слова, подлинно Христова чувства. «В начале было слово, и слово было у Бога и слово было Бог». А тут оказывается слово в конце. Оно было у тебя, и оно есть ты, явившийся себе самому. Наконец, перешедший в себя самого из себя самого. Ну что ж, пока мне достаточно сегодня. Это подступ к тому, что мне всё же ещё предстоит сказать. Ибо зрение ещё не ушло от меня. И с удивлением я обнаруживаю, просыпаясь каждое утро, что оно не уходит. Может быть, даже излечивает себя. Но делает это почти незаметно. Так медленно, что становится этой продленной крестной мукой. Но мука эта не уходит, а внушает мне не просто терпение или долготерпение, а то особое свободное и насыщенное любовью чувство к моей Беатриче, о котором я ещё ничего не сказал.

6 декабря 2019

Только тогда, когда отдаёшь жизнь, отдаёшь то, что никогда не вернётся в этой твоей ипостаси, только тогда по-настоящему знаешь, что такое вера. Да, до этого только предчувствуешь, наблюдаешь как художник, производишь словом, философствуешь, даже проповедуешь. Но это всё не освящено настоящим знанием. Христос, сказавший «если будете иметь веру, то гора сдвинется». Если вы захотите, вы сможете это сделать, не Бог

сделает это для вас. И Бог даст вам всё, что с такой верой попросите у него. Очень трудно, кажется, невозможно в течение всей жизни понять, что вера это верность, это неспособность изменить, предать. Христос, как об этом повествует Евангелие, да и весь свод Ветхого и Нового Завета, говорит об измене, о предательстве. И в итоге Нового Завета лишь один по-настоящему верен, лишь один не предавал, и лишь ему доверено завершить Священное Писание. Это Иоанн. Он один не бежал, оставив Христа; он тот, кто лежал у него на груди во время Тайной Вечери. Он один, кто вписал в Евангелие главную заповедь: «любите друг друга». Он один, кто объединил мощь Ветхого Завета и Нового в Апокалипсис, создал особый апокалипсический способ проповеди. Все апокалипсисы, которые были в Ветхом Завете, очень предварительны. Они предвещают нечто не вполне ясное и пережитое, еще требующее веры, требующее верности. А в Новом Завете эта верность воплощена в одном, испытанном человеке, в том, о ком Христос не сказал, сколько он проживет, и остановил на этой черте знание Петра. «Что тебе», - сказал он ему.

Да, Данте оказывается прав. Предательство – самый страшный грех. И, может быть, не так неправ и я, который в моей «Божественной комедии», первой части, так и сказал: «Предательство – основа из основ описанного мною карнавала». Рабле одному из своих любимых героев, брату Жану, другу Гаргантюа и Пантагрюэля, основателю Телемского аббатства, поручил немного не евангельское выражение той мысли, которую я пытаюсь сейчас самому себе передать. Он сказал однажды: «Я бы подрезал поджилки господам-апостолам, которые трусливо бежали тогда, когда душа моя подсказывает – нельзя бежать и когда можно поиграть ножом». Вот это «Можно поиграть ножом» – евангельское и не Христово выражение и чувство. Он как раз запретил применять нож, когда его брали, когда Иуда предал его, и когда он был схвачен. Да, это не Христово выражение. Но мысль о том, что господа-апостолы – предатели, это вот совершенно точно. Это отвечает тому, что в своем Евангелии сказал Иоанн. Он поручил церковь Петру, но поручил тому, кто предал Христа трижды. И поэтому Он три раза спросил его: «Любишь ли ты меня?». И напрасно Петр обижался, напрасно говорил: «Ты знаешь, как я тебя люблю». Христос знает, как Петр его любит, трижды Его предав. Никакое раскаяние не может смыть грех предательства. И он так и остается на всех, кроме Иоанна, который не совершал

предательства. Который был верен Христу и потому имел право проповедовать веру. Так вот, только тогда, когда отдаешь то, что в этой ипостаси уже никогда к тебе не вернется, только тогда начинаешь чувствовать, что такое вера.

Но это совсем не отменяет правды предчувствия, правды предведения, правды той духовной интуиции, которая оберегает тебя от самого главного греха. И все это я говорю себе потому, что моя Беатриче была мне по-настоящему верна всю жизнь. Но я не говорю о себе. Я тоже был ей верен. Но она – это совсем другое, она была верна моей судьбе, тому высокому способу жить, пытаться творить, отказываться от очень многого, от чего не отказались другие. И отказываться не потому, что ты приносишь в жертву себя. Потому, что этот отказ тебя выражает, потому что этот отказ есть ты сам настоящий, не предавший себя самого, верный себе самому. Вот оглядываясь на всю свою жизнь, я не могу себя обвинить в таком предательстве. Плохо ли, хорошо ли, достаточно ли по силе, чувствам, силе того дарования, которое мне, как и каждому, как и любому человеку брошено природой, Богом. Неважно, с какой силой, с каким могуществом, с какой образной мощью это было выражено. Возможно, все это очень слабо сказалось в слове, моем слове. Но это все воплотило верность, верность себе. Но что такое моя верность себе по сравнению, по отношению к той верности, которую в себе нашла и воплотила Беатриче, моя Беатриче. Делала это она тихо, казалось бы, незаметно. И я был столько раз на грани отступничества, столько раз я хотел порвать эту неразрывную душевную, духовную близость, эту особую силу, которая соединяет ипостаси временами в одну ипостась. Сколько раз я был почти грешен. Она всегда меня останавливала, она оберегала меня от этого шага, и правда ее верности восстанавливала, вновь рождала силу и правду веры. Об этом, разумеется, надо сказать иными словами, иначе. Но как бы это ни было сказано, за этим стоит нечто действительно, судьба. То, что я сейчас отдаю, как отдают жизнь. Когда осталось немного, и вместе с тем, чувствуешь, осталось нечто необъятное, нечто несказанное, ничем не измеримое, что было в тебе, что было тебе поручено. И это всё дано тебе осознать сейчас, на этой черте. И всё это поручено тебе отдать. И ты отдаёшь, ни на миг не сомневаясь. И не жалея о том, что судьба сложилась именно так. Что ты именно таков, благодаря ей, именно таков, кому она была верна всю жизнь и всю жизнь

отдавала, и в ком она тем самым вновь рождала каждый день, каждый миг его веру.

... «Пока /по этой /по Невской /по глуби /спаситель – любовь /не придёт ко мне, /скитайся ж и ты, /и тебя не полюбят. /Греби! Тони меж домовых камней!». Это из «Про это». Из «Про это» – это. Но ведь «Божественная комедия» – поэма о том, как Данте был спасён. Спаситель – любовь пришла, спустилась в ад, пройдя сквозь все его круги, пролетев мимо всех грехов человеческих, пролетев во тьме над ними до лимба, где живет разум, лишенный веры и не совершивший предательства. Она совершила это, потому что любила. И Данте должен был пройти обратным путем, обратным по отношению к тому, которым к нему возлетела Беатриче. Он должен был пройти всё. И весь ад, и чистилище. И там вместе с ней, с Беатриче, подняться к Богу, возлететь к Богу. Да, это поэма о спасении. Спаситель – любовь. Каждому человеку, каждой человеческой душе, любой его ипостаси, открыт этот путь. К нему и от себя, блуждающего, но не совершившего предательства. К тому, ради чего бытие. Если каждому, значит, и мне. Могу ли я сказать, что был спасён? Или, может быть, я сам пытался спасти, пытался, но надо ещё суметь. Надо ещё быть в силе свершить. Всю жизнь я так или иначе пытался. Даже больше. Пытался спасти мою Беатриче и до сих пор, как мне кажется, спасаю. От тех блужданий, от тех, таких свойственных всем блуждающим заблуждений, от стереотипов общего мнения, которые лживо уводят от правды. Потому что уводят от личности каждого, кто невольно предаёт себя самого. Да, я пытался. Мне кажется, мне кажется, что мне это удалось в моей любви и судьбе. Но это только мне кажется. На самом деле, я чувствую всю глубину души моей Беатриче, которая помимо меня, может быть, благодаря некоторым моим словам и строчкам, испытывала, несла в себе любовь, которая способна пройти через все ступени спасения, через все круги гибели души и падения. Парить над этим путём восхождения, победить тьму кругов ада, выйти к победному разуму, который вечно будет устремлен к ускользающей от него истине, и позвать на этот свой путь, но в обратном порядке. От ада через чистилище к раю. Любимому; тому, кому отдана верность; тому, кто в итоге, кто знает, может быть, и впрямь обрел веру; тому, кто не изменял предчувствию спасения. Да, вот осознавая это, чувствуя, переживая это, всматриваясь в это по утрам, я готов отдать последнее, что есть у меня. Как

отдаю зрение, отдаю многое такое, что мог бы сделать, и не делаю только потому, что уже не могу это сделать. И никогда не смогу. И всё же, отдавая, последний раз отдавая, я не то что счастлив – я спасен. И может быть, мне дано будет особое счастье найти точные слова, чтобы выразить радость спасения и глубочайшую горечь расставания с моей этой ипостасью. Была одна душа, которая не поняла этого моего чувства, и с которой я навсегда разошелся. А вот в этой самой комнате, вот здесь, она жила, эта душа. Она, казалось бы, пришла ко мне. И я отдал ей мою книжку, где была поэма «Данте». И ещё одну книгу, на которой я написал: «с благодарностью и горечью на ипостасном переходе». На том переходе, когда расстаешься со своей ипостасью. А это было давно. Это было уже лет 15 тому назад, а я тогда уже предчувствовал расставание. Она этого не поняла. Вот эту горечь на грани перехода. Она не могла понять, и мы расстались навсегда. И я не знаю, сама, расставаясь со своей ипостасью, а она уже ушла из нашего мира, поняла ли она наш разрыв, наш уход друг от друга. То, что говорит о возможности и об отсутствии любви. То, что говорит о верности, пробуждающей веру. Я этого не знаю. Я знаю, что она уходила в муках, муках физической боли. Я всей душой был бы с нею, и, даже не зная о её страдании всего, я всё равно был с нею. Это я знаю. А то, как она уходила, и то, как она, может быть, в итоге поняла то, что я хотел ей передать, выразить. Неужели это было передано ей моим неосознанным желанием? Этого я не знаю. И вот тень, которая создана не для этого мира и не для загробного мира, отлетела. А душа Беатриче со мной. Даже тогда, когда я пытаюсь, как мне кажется, её спасти. На самом деле, она спасает меня. Ежедневно, ежеутренно, ежеминутно. И об этом еще так важно сказать мне самому. Я совершаю этот мучительный путь. И мне кажется, близка та граница, на которой этот путь будет завершён. Но я уже сейчас, отдавая то, что у меня осталось, чувствую всю силу верности, веры и любви.

7 декабря 2019

«Захлебнешься! /А тут и я еще. /Прохожу осторожно, /огромен,/ неуклюж. /О, как великолепен я /в самой сияющей /из моих бесчисленных душ!». Это из поэмы Маяковского «Война и мир». И опять бесчисленные души, переселение душ и опять недостаток слова. Где же, где же переход из

одного состояния в другое? Переселение душ или же ипостаси? и перехода с одной в другую. А это и есть любовь. В самом необъятном, метафорически, конечно. Это всё метафоры. Но всё же метафоры, предвещающие осознанную реальность. «О, как великолепен я в самой сияющей из моих бесчисленных душ!». Здесь почти сказано об ипостасности. А ведь столько мгновений, самых лучших мгновений в человеческом бытии, когда граница между ипостасями становится прозрачной, преодолимой, почти разрушаемой. И тут же вновь восстанавливается. Вообще, преодоление этой границы – это есть единственное чудо. И чудо, возможность которого лежит в основе всего сущего. Какие бы сугубо механические подходы к тому, чтобы понять это чудо, ни существовали, а их много, – они не передают, не затрагивают, не проникают, не открывают сил, рождающих такое чудо. А чудо существует.

Вот тут я мог бы согласиться с автором «Воскресения», который говорит, что мы живы не тем, что настроили тюрем и наделали государств, а тем, что мы любим друг друга. И вроде бы, опять здесь не хватает слова ипостасность. Хочется, чтобы преодоление этой границы было полным, абсолютным и безвозвратным. Чтобы было безвозвратно то состояние, которое ставит границу между ипостасями. Что же, такая возможность, такая реальность, кто знает, когда-нибудь и будет добыта. Это сказка, такая, плод которой – все остальные сказки Андерсена, как опять-таки ставил ударение Маяковский. «Эти сказки Андерсена щенками ползают в ногах». У этой, казалось бы, сказки. Возможно, и будет полное преодоление. Но я чувствую, что этого всё-таки никогда не будет. А если будет, то с возвратом. Потому что если такое чудо состоится, не будет нового, такого же, но ипостасного чуда. Это соображение, логика, аналогии, которые человек совершает между интуитивным, верующим ожиданием такого чуда и своим человеческим опытом. – Механистическим, когда живое уподобляется машине, когда самое невероятное мы пытаемся измерить меркой привычного и уже освоенного. И вот мы опять возвращаемся к понятию ипостасности. Это вечное чудо. Взаимопереходность ипостасей не может прерваться. Значит, не может прерваться и окончательно граница между ними? Значит, и любовь, как слияние ипостасей, не может окончательно одолеть, перешагнуть эту границу. Любящие сливаются воедино, и всё равно каждый

остаётся собою. Ради взаимопереходности, ради того, чтобы друг в друга перейти и вернуться к себе.

Вот почему мне думается, что и этот привычный в мировом духовном опыте образ переселения душ («как великолепен я, самый сияющий из моих бесчисленных душ»), и этот образ не вбирает в себя откровение ипостасной правды. И вот здесь где-то мы подбираем к этой тайне тайн, к этой изумляющей человека несказанной, невероятной, сверхфантастической, сверхсказочной, но реальной правде, которой мы живы. Мы живы именно ею. Именно здесь источник всей человеческой духовности, источник памяти, источник дружеского чувства, источник любви. И того, что писали о любви. Когда Пушкин сформулировал, что жизнь одна ли две ли ночи, он говорил о том, как она, эта любовь, проходит; как она свободно явившись, одарив, уходит. И её уже нельзя вернуть и нельзя искусственно продлить. Вот он говорит о той непроходимой границе ипостасности.

А она проходима, она может длиться долго, эта способность преодолевать границу. Когда двое вместе. Она может быть на всю жизнь. И только тогда любимая становится Беатриче. Конечно, здесь граница о себе напоминает. Но счастье в том, что когда ты споришь с тем, кого любишь, и кажется, вот-вот будет разрыв, вот-вот граница станет бездной, то ты вдруг неожиданно как будто вспоминаешь, что это спор внутри тебя, что ты споришь с самим собою. Но ты обречен не покидать себя, выходить из себя, отрицать, отвергать и возвращаться. Вот почему получается, что о любви всегда, у всех, кто писал о ней, говорил о ней, пел о ней, а попробуй исчисли эти голоса, у всех у них что-то оставалось недосказанным. И сейчас я посмеюсь над самим собою, если скажу себе, что вот я приближаюсь к тому, чтобы досказать.

Это чувство неуловимо, это чудо уносит всегда с собою свою тайну. И осознание того, что это вечное чудо, что оно каждую секунду бытия возобновляет себя, а не может быть пройдено и просто оставлено в прошлом. И вместе с тем, оно допускает продление фаустовского мгновения. Почти до бесконечности, когда граница, кажется, не может вернуться, не чувствуется, не переживается. И вместе с тем, всё равно чудо происходит вновь и вновь. Как об этом сказать? Придётся говорить так, как никто не говорил. А где у меня силы, где у меня дар сказать так? И всё же я не буду ставить себе никаких запретов. Тем более, это так просто, так доступно, так

сказочно, так наивно – и так недоступно, бесконечно сложно, неразрешимо. И вот, оглядываясь на свою жизнь, могу сказать, что непонятно за что, но я подарен счастьем этой ежесекундно восстанавливаемой взаимопереходностью. При том, что граница остаётся. Граница остаётся, а жизнь одна. Она не может быть разрушена, как не может человек, пока он жив, перестать быть собой, навсегда уйти из себя, как это будет, когда ипостась кончится. И тогда-то и произойдёт, как я верую в это, чудо. Чудо ипостасного вновь рождения, о котором только и надо говорить, писать, петь. И о котором до сих пор не было ни сказано, ни спето, ни написано. Ну что ж, попробуем. Спасибо сегодняшнему утру за то, что оно подарило мне такой разговор с самим собою. Я один сейчас. Все спят. Моя Беатриче не догадывается о том, что я сейчас шепчу себе самому. А жизнь наша всё равно одна. И не только потому, что я без неё, без Беатриче, не смог бы прожить и дня. А потому что это чудо, которое соединило наши судьбы на всю нашу жизнь.

8 декабря 2019

Не спал целую ночь, как будто ощупывал грань моей ипостаси, подходил к ней вплотную. Думал, что она не только прозрачна, но и зеркальна, что она не только пропускает взгляд сквозь себя, но и отражает меня. И вот никакого отражения. И когда я попытался прикоснуться, что-то в воздухе остановило мою ладонь. Нечто похожее есть у меня в повести «Трое», последней повести. Но вот я всё же сделал движение ладонью вперёд и волевым импульсом попытался отодвинуть эту грань. Удивительно, она послушно отодвинулась и отодвинулась так, что я уже не мог её достать. Что случилось? Не дай Бог, если что-то могло случиться этой ночью. Но такой бессонной ночи у меня ещё не было. Вилли лаял несколько раз, я старался бесшумно поворачиваться на своем ложе, никак его не окликал. И он успокаивался. Что-то такое значит эта бессонница. А моя Беатриче была рядом. Она тоже не спала. Но знала ли она, что я не могу сомкнуть глаз? Я думаю, знала. Она не знала другого и не знает до сих пор. А уже настало утро. Она не знает, что она Беатриче. И я ни разу ей об этом не сказал. Ну и я ведь никакой не Данте. Но она Беатриче для меня всё равно. Может быть, этой ночью она почувствовала то, что я ей до сих пор не сказал. Но я

невольно поглядывал, вспоминая, воображая не свою жизнь, а её жизнь, которую она дала мне. Я сам себе был неинтересен в этом взгляде назад. И в этом полёте души, оттуда, из нашей юности, когда наша жизнь началась, вот к этой бессонной ночи, вот в этом полёте я почувствовал, понял, как тяжела, как трудна и как самоотверженна была её жизнь. Себя я более-менее знал. Знал себя. Но, оказывается, это знание меркнет перед тем, что я понял. Душа, которая полностью отдает себя; и ни разу не почувствовала ее рука той грани, которая лежит между нами. А этой бессонной ночью грань могла исчезнуть совсем. Оба мы не спали. Оба мы волновались, мучились бессонницей – правнучка наша заболела, и душа моей Беатриче была с ней и со мной. И многие другие души оживали в ней этой ночью. Я мог бы подробно рассказать, кто это; как он входил в её душу этой ночью; как мягко и незаметно исчезал и являлся кто-то новый и своей душой окликал ее, не давал ей уснуть. Да, я понял, что она ничего не боится и внушает мне то же самое чувство. То же отсутствие страха. До тех пор, пока жизнь есть, она бесстрашна. Страшно другое. Боится отсутствие жизни или её уход. И сама грань межипостасная между нами, призрачная в этом полумраке комнаты, незаметная, как я ни пытаюсь всмотреться, чтобы увидеть своё отражение. Сама эта грань не страшна, потому что она отходит. Стоит только пожелать, чтобы она отодвинулась, рассеялась, раздвинулась. И она исчезала, потом опять появлялась. И опять я чувствовал, что я душой там, а не здесь. И опять просматривал от начала до конца нашу, нашу единую с ней жизнь, полностью, без остатка отдаваемую мне. Ну что ж, Беатриче есть. Оказывается, она не вознесена над землю в эти небесные сферы, к Небесной розе. А она вот рядом. Всю жизнь, каждый день. Данте вернулся на землю для того, чтобы пройти вторую половину жизни, нашей жизни «Nostra Vita». И опять разлука. Хотя этот равномерный крестный поворот от неба на землю с сохранением того же радиуса близости, какой был в небесах, этот поворот преодолевал разлуку отменял её, но она всё же была. Там была, действительно, грань между ипостасью, и можно было её преодолеть только так, только таким путём, о котором рассказал он. Мне же дано счастье чувствовать рядом мою Беатриче, которая не спит и не знает о том, кто она.

... Неинтересен себе. Легко сказать. На деле ничего не выходит. Вот это состояние ухода из себя, из своей ипостаси, сразу же, мгновенно, как только оно начинается, становится состоянием возвращения к себе, в другой

ипостаси. Есть межипостасная грань и межипостасное преодоление этой грани у любящих друг друга. Это целая бездна. Одно из самых, если не самое непостижимое чудо. Но, может быть, одно из таких чудес. Да. Возврат к себе, но к себе тому же самому другому. Каким ты был для любящей тебя, а она сама – это ты другой. И вот получается, уйти от себя невозможно; но пока ты любишь, нельзя уйти и от того, кого любишь. Все эти возвраты к себе, погружение в неё, причастие той высоты, которую в себе всю жизнь несёт Беатриче. Как будто изначально и ещё до того, как мы встретились (я, студент, дающий первые уроки в школе, она ученица того класса, где я даю эти уроки), ещё до того, как мы встретились, мы уже предчувствовали эту встречу. Ну конечно, я тогда и не думал о том, что судьбы наши соединятся. Но она уже решила, что это будет именно так. А потом, когда любовь, поняла, что она есть именно эта любовь, тогда вдруг почему-то я решил расстаться на 2 года. Да, у меня было увлечение. Я думал о другой. И чем больше думал о другой, тем больше возвращался к тому чувству, которое я, казалось бы, навсегда от себя отстранил. На самом деле, я знал: только на 2 года. Почему два года? Да потому, что знал, что от себя уйти невозможно. И потому что знал, что она это знает и ждёт. Да и я жду. И как раз через два года мы снова встретились. Легко, сразу, и всё решилось. Хорошо это или нет? То, что от себя невозможно уйти? Но ведь это ипостасный возврат к себе. Ты уже стал другим. Не таким, каким был, когда из себя выходил в своё другое. Да и душа, в которую ты уходил, тоже твоя ипостась. Она – другое. Как понять, как охватить это необъяснимое, это несказанное, это неизбежное?

Кажется, какой-то голос, не того ли Противоречащего, говорит мне о том, что такой выход из себя это и есть уход от того, кого любишь. Уж если ты верен этому ипостасному началу и веришь в то, что оно живёт во всех, во всех людях, что оно универсально, то тогда в чём разница между тобой и любящим? Ты уходишь от себя и, уходя от себя, уходишь от всех. И ты возвращаешься ко всем и к себе. Скрябин вот верил или пытался верить в то, что он творец мира и что он в музыке ведёт народы к счастью. И что мир противоречит ему и требует лишь музыкального преодоления, преодоления в музыке, потому что он, творец мира, так его создал для творчества. Если бы мир был создан иным, Скрябин не мог бы творить, и музыка была бы не нужна. Так вот, ипостасная вера, может быть, тоже какая-то своего рода

ипостась этого скрябинского солипсизма? И любовь это одно из имён, которым можно освятить это сродство? Это всё философствование Противоречащего. А я понимаю само безмолвие, само нежелание, боязнь словесно выразить это чувство и это состояние, как признак того, что оно подлинно.

Я не могу философствовать о любви. Я могу пытаться уйти от себя и готовить себя к тому, когда я уйду совсем, к себе другому. Но любовь возвращает меня к себе тому, какой я есть, потому что она обращена ко мне такому. И вот я возвращаюсь к себе другому – как к тому, каким был, когда пытался выйти из себя. Нет, я знаю, зачем бессонница. Почему целая ночь вдруг подарена мне для того, чтобы я не увидел ни одного сна. Бывает сон без снов, а бывает сон без сна. Именно тогда по-настоящему чувствуешь подлинность любви. У Ницше есть ночная песнь Заратустре, которую он считал верхом, пределом совершенства в языковом самовыражении. Да, это та самая песнь, где он говорил: «Я свет. Ах, если бы я был тьмою, с какой страстью я прильнул бы тогда к сосцам света». Да, это песнь о чем-то близком к тому, что испытываю я. Но это совсем другое. Здесь есть что-то общее в том, что, желая стать тьмою, он, тот, кто так говорит, возвращается к свету. Трагедия в том, что он опоясан светом, и неизбежность, и подлинность. Но ипостасная вера не требует такого ухода от себя. Не требует такого ухода от себя, если любишь. А он вполне возможен, такой уход. Здесь Ницше прикоснулся, в самом деле, к одной из тайн. Поэтому так прекрасна в отдельных стихах текста эта песнь. Он хочет стать злым, чтобы стать свободно добрым; чтобы обновить то благо, которое живёт в нём и жаждет. А та любовь, которая подарена мне, непрерывна. Она не переходит в свою противоположность. И поэтому ни разу не было измены. Был спор с собою, спор между нами, любящими. И спор этот не кончился, и, может быть ещё острее и будет острее. Но любовь не прерывалась, не переходила от света к тьме. Это то чудо, которое бывает с людьми. Не у нас только вдвоём так слились две судьбы в одну. Но это так редко. И невольно хочется молчать об этом, чтобы слова о любви не были упреком другим. Тем, для кого, как сказал Пушкин: что жизнь? одна ли, две ли ночи. И сам он мечтал или испытывал, нес в себе, а не только мечтал, такую любовь. И только не успел сказать о ней. Это присуще всем. Это может быть сильнее, чем скрябинское ощущение себя творцом мира, и сильнее, чем ночная песнь Заратустры. Это

что-то особенное. И то, что дано в эту бессонную ночь – как один из высших даров. Как один из высших даров. В ту ночь, когда жизнь чувствует себя бесстрашной. Бесстрашной перед тем, что страшнее ада окружает её. Так и хочется разбудить мою Беатриче. Но я не делаю этого. Пусть она спит и не знает, кто она. А она не спит. Она знает.

9 декабря 2019

Бессонница. Ну да, конечно, так оно и было. Это ведь были Мишины дни и ночи. Это не я ощупывал границы своей ипостаси. И это не просто было то чувство и то состояние, в котором открывалась сущность, непрерывность нашей любви. Всё это было. Но главное совсем другое. Это он, Миша, приходил ко мне бессонной ночью. Конечно, это метафора. Но я никогда не думал и вчера, в разговоре с собою, не догадывался, что метафора может так воплотиться. А она воплотилась. Вот 20 лет назад, когда это случилось, даже мысли о том, что это метафора, не возникало. Это было реальностью, после которой уже ничего нет такого, что было бы страшно. А потом понемногу метафора эта скрывала себя. И в дни, когда он боролся со смертью, он так явно не приближался ко мне. И вот приблизился. И стало ясно, где граница моей ипостаси и где безграничность нашей любви. Но вот об этом точно моя Беатриче не знает. Она даже и вчера не догадывалась, когда к нам пришли наши милые гости и когда мы помянули Мишу. Об этом почти ничего не было сказано вслух. Но он присутствовал и вчера. Вот то, чего не было ни у кого, вот что пришлось испытать после его ухода. Он не уходит. И пусть это лишь сказка, метафора. Его присутствие несет с собою тайну, открывающую и мне и моей любимой другие тайны. И сегодня я скажу ей о том, что, оказывается, было в эту бессонную ночь. Ей казалось, что я сплю. Но я точно знал, что я не уходил от себя самого ни на секунду. И так длилось часами, все те шесть часов, когда в обычные дни я от себя отдалялся и видел сны, в которых не было беды, утраты, но оставалось это чувство его присутствия. Я не утрачивал во сне, в этих снах, зрения. Я всё видел ясно, в точных и ярких красках, во всех подробностях. Мог взять с полки любую книгу, мог хорошо видеть текст. Мог взять эти желтые прозрачные папки в руки, в каждой из которых лежит какой-то и мой текст, который я не могу свободно без лупы прочитать вслух.

И вот вчера моя Беатриче прочла «Экклезиаста» милым моим гостям. И я даже не знал, открыл ли этот текст им правду того переживания, которое было у меня летом, когда я кончил эту мою не отделанную ещё, не приведенную в порядок поэму. Которую я пытаюсь все эти дни, недели, месяцы поправить. И пока ничего не получается. Вот она прочитала эту поэму, записала своё чтение. И когда по моей просьбе запись была включена, она ушла из комнаты. И я так и не знаю, как эти не доведенные до нужной точности, до нужной органики образа строфы, как они тронули души моих гостей. Отвыкших уже за эти годы слушать на днях, посвящённых Мише, мои попытки с ним говорить. В тех стихах, которые именно в эти дни я невольно проверял на слух, в его присутствии. Гости приходили. Был очень хороший, весёлый разговор, на какие-то секунды мы замолкали и поминали его. А тут я вдруг почувствовал – и не вчера, когда это произошло, а сегодня, когда я проснулся, и ночь была, как обычно, и сны были такие, что я мог, видя их, отдохнуть от своей беды. Вот, несмотря на то, что ночь по-прежнему вернула мне прежнюю мою жизнь, когда я немножечко отдыхал от беды, муки, от памяти, которая не даёт мне заснуть, такая ночью вернулась. Но именно после неё, сегодня, сейчас, этим тихим утром я понимаю, что он не только ко мне приходил, но и к тем, кто прислушался к моему голосу, пытался поймать в этих неловких стихах то, что на этот раз донеслось оттуда. И мне так просто было сказать о том, что я говорю себе сегодня, разгадывая тайну этой бессонной ночи, так легко было вчера это сделать. Но я молчал, потому что знал, что помимо меня, помимо всех наших разговоров, его присутствие наполнило душу каждого из нас. А Беатриче так устала от той скрытой за разговорами тишины, что первый раз почувствовала себя легко и легче, когда гости ушли. Наверно, то, что я сейчас о них и о себе говорю себе самому, тоже метафора и сказка. Это сказка, которая несет в себе, возвращает мне мою же собственную благую весть, которая когда-то, 20 лет тому назад, спасала меня. Спасала меня, когда прерывались счастливые сны, на какое-то время освобождавшие меня от памяти. Благая весть, которую я пытался как-то выразить и, может быть, выразил в стихах, в прозе. Наверно, всё же не выразил, как в этой моей, вчера прочитанной голосом Беатриче, моей поэмке. Всё это продолжает жить, продолжает раздвигать границы ипостаси. Отодвигать эту прозрачную грань и возвращать мне именно то мое существование, которое я всё же не хочу потерять. Потому что иначе я

потерю ту спасительную для меня близость с Мишей, которая, оказывается, осуществилась со мною в эту недавнюю бессонную ночь.

10 декабря 2019

В детстве я боялся именно этих бессонных ночей, таких как та, которая случилось позавчера. Их в моей жизни было не так уж много – одна ли две ли ночи. Но совершенно ясно: здесь воображение, жизнь души, которая ночью говорит сама с собою. И приход оттуда на это незримое свидание. Воображение, сказка, реальность бессонной ночи – всё уравнилось. И мне уже не было страшно. Почти не сомкнув глаз все шесть часов такого ночного бдения, когда открывается то, что обычно закрыто. И не только «змеи сердечной угрызения», как сказано у Пушкина. Но именно так – незримое свидание. Это уже становится природой. Становится тем, чем дышишь и спасаешь себя. Как будто он вошёл своим особым шагом, прошагал комнату, где меня нет, осмотрел её, убедился в том, что я где-то рядом и осторожно, неслышным шагом, приблизился ко мне. Я лежу с закрытыми глазами, не смыкая их. И вот это особое видение, когда начинаешь видеть то, что, казалось бы, сам закрыл для себя, а на самом деле оно открывается тебе, это особое видение и есть его присутствие. Он подошёл к моему ложу, долго стоял надо мною. А я видел его этим особым зрением; тем, которое придёт ко мне, когда уйдёт, совсем уйдёт это. Тогда я буду видеть его часто. И не только ночью. Я не открывал несомкнутых глаз долго. Ведь это была именно та ночь, когда он боролся со смертью, уже 20 лет назад. Я не открывал несомкнутых глаз и внезапно их открыл. Конечно, я его не увидел. Но удивился тем особым присутствием, которое тут же перешло в отсутствие. И он тихонько, незримо вышел из комнаты. И мне стало легко, радостно. Я почувствовал, что он меня не оставит. Если немного – труды мои, воображение моё, память – вся необозримость теснящихся в душу моих ипостасей будет меня отвлекать от меня самого, он точно так же придёт, точно так же станет передо мной или надо мной. Он сделает то, что еще недавно казалось мне самым ужасным, самым невыносимым, – мгновение ухода, продлив как то счастливое мгновение, которому хочется сказать: не уходи, остановись. Вообще оно происходит мгновенно, а у меня растягивается, даёт возможность в себя всмотреться и понемногу, день за

днём, утро за утром, дает мне возможность проститься с самим собой. Что-то уже не вернётся ко мне, как возвращалось раньше. Оно ещё живёт в памяти; я помню формы, краски того или иного предмета. И вот оно уже никогда и никак не вернется. И в это мгновение он, Миша, стоит рядом со мной или надо мной в такую бессонную ночь. Уйти невозможно. Да он и не отпустит. Он о себе напомним своим особым присутствием, и он мне скажет о чуде такой встречи. Том чуде, которое равно вере и верности и которое по слову в Евангелии даст мне возможность даже гору сдвинуть, если я этого захочу.

Да, вот так прошла та бессонная ночь. И когда он ушёл, не уходя, но тихим неслышным шагом вышел из комнаты, я почувствовал, что я спасен, что свершилось нечто такое, чего я боялся и в детстве не мог даже себе представить, но предчувствовал. А позавчера, в эту бессонную ночь, принял как счастье, как право на то, чтобы воображение, те особые сюжеты, которые теснятся в душу, стали правдой, облеклись бы в некое слово, спасительное для меня. И вдруг открыли возможность того, что невозможно и никому не было бы понятно, как то, что можно увидеть наяву, осуществить. Здесь всё осуществимо, здесь после этой встречи я спасён, спасён для этого длящегося непрекращающегося перехода и выхода из моей ипостаси. Я что-то прошептал вслух. И тут же почувствовал, что шепот мой никто не услышит, и даже я сам не слышу его. Я попытался сказать громче, уже не шёпотом, а голосом, и опять ничего не услышал. Но знал, что он, ушедший из комнаты, а еще минуту назад стоявший надо мною, слышит меня. Я взглянул на часы и удивился. Неужели ночь прошла? Вот уже 4 часа. А в 4 часа я уже принадлежу иному дню и самому себе в этом ином дне. Главное пережито. И новый день рождается вовне и для меня. И то, что от меня удалялось, и то, что я, казалось бы, уже не был способен увидеть, я начинаю видеть. Зрение становится лучше. Я знаю, что это бывает только по утрам, только в первые минуты после пробуждения. Но сейчас ведь пробуждения не было, а была эта святая бессонная ночь, когда не только я старался выйти из себя самого ему навстречу, но он сам пришёл ко мне, чтобы вывести и увести меня. Пришёл, увидел меня особым своим зрением, тем, которое он подарит мне, и оставил меня. Зачем? Затем, чтобы я что-то ещё прочувствовал, что-то ещё вспомнил и что-то сказал ему и себе самому. В нашей большой комнате на раздвижном диване, который стоит вот в том противоположном углу у окна, пошевелилась моя Беатриче. Она ведь тоже не спала. Не смыкала закрытых

глаз и могла видеть, как он вошел и удалился. Но могла и не видеть. К ней он приходит чаще, чем ко мне в ее долгие, бесчисленные бессонные ночи.

11 декабря 2019

Оказывается, страшнее всего возвращаться к себе самому. Возвращаться и не вернуться. А только читать себя, забыв то, о чём сейчас читаешь. «Всё то, что сделано, я делал начерно. /Всё повторимо для усталых рук. /Но повторение мне не предназначено, /И Беатриче разрывает круг». Это случилось сегодня утром. Оказывается, я забыл и забыл напрочно, навсегда, те строки, которые рождались, когда я был в другой своей, молодой ипостаси. И вот читая, перечитывая, как будто в первый раз прочитывая эти строки, я чувствовал, знал, что не могу вернуться в моё прежнее состояние. То, которое было тогда на чердаке, в Низовской, когда утреннее солнце слепило. И я загорал на этом утреннем солнце, раскрыв свою пишущую машинку на столе и собирая в душе то, что сейчас читаю. Так просто всё это вспомнить, ещё проще – вернуться, вселиться в этот образ. Потому что когда прочитываешь забытую, совсем, навсегда забытую строку, чувствуешь эту возможность, убеждаешься в ней, всё это можно было бы совершить и сделать последний шаг к себе самому. Но я этого сделать не могу. «Повторение мне не предназначено, /И Беатриче разрывает круг». И я вижу, как она это совершает. Она, дарующая блаженство, этого блаженства мне не хочет дать. Не может или не хочет? Она разрывает круг повторения, она не даёт мне ходить по кругу. А это так просто. Нужно только, чтобы она не мешала мне сомкнуть разорванный круг. Но я вижу её и не решаюсь это сделать. То простое, что вполне доступно. После того, как я прочитал до конца забытое, прочитал, и сразу всё вспомнилось, и сразу всё воплотилось. И память так живо, так точно, с такой четкостью и в таких прежних красках утра возвращала, возвращала мне меня самого. И вот опять не сбылось, не свершилось то, что было бы блаженством. Может быть, и заслуженным даже, ибо я не изменял этой забытой памяти. В этом я оставался и остаюсь чист. Однако, нельзя совершить это самое простое.

И я остаюсь при себе таком, каков я сейчас. Не знаю, смогу ли я свершить что-то схожее, что-то подобное, когда это будет в последний раз. Неужели и тогда моя воля, воплощенная в ней, не позволит мне сомкнуть

круг и вернуться назад. Да, великая ипостасность, воплощенная в ней, запретит мне это сделать. И я уйду в свою другую ипостась. И может быть, это самое страшное. Как будто какой-то голос говорит мне голосом Беатриче: хочешь? Я разрешу тебе вновь стать младенцем, сохранив твоё теперешнее сознание. То сознание, которое ещё вчера могло свершить многое из того, что вместе с твоим зрением уходит от тебя. Хочешь, ты это сознание сохранишь в себе? Но будешь младенцем, который ничего не может сделать в ответ на ту волю, которая сознание помнит и пробуждает в тебе. Ты всё помнишь, ты всё хочешь, у тебя та же воля, и ты не можешь. И должны пройти годы, десятилетия, когда ты вновь сможешь – ошибками, ожиданием, предвидением, вот этими строками – вновь добыть для себя ту великую возможность просто быть собою. Таким, который всё может из того, что хочет, и из того, к чему чувствует свою волю. Открывающий возможность осуществления, воплощения, поступка, движения, простой стихотворной строки. Должны пройти годы, должна вновь пройти прежняя жизнь, сотканная из возможностей поступать, чувствовать, ошибаться. А сознание остаётся, останется то, которое в тебе сейчас. Может быть, это пострашнее любой голгофы, любого ухода в ничто? Ухода, который тебе тоже не предназначен, ибо существует великий закон ипостасности. Так вот, согласен ты на фантастическое отсутствие себя самого в себе самом, отсутствие себя? Или ты всё-таки согласишься быть младенцем, несущим в себе это твоё нынешнее сознание? Голосом Беатриче со мной говорит сама ипостасность бытия. И как я отвечу? И что я в этот единственный, на секунду данный миг решения сделаю? На что я соглашусь? И я всё-таки думаю, что я соглашусь быть младенцем. Я произношу это сейчас. И Беатриче видит меня и ничем не выражает своё согласие или несогласие. Ты этого хочешь? Вот я тебе даю эту возможность.

12 декабря 2019

Мефистофель у Гете в «Фаусте» говорит о том, что сам Господь, создав мальчишек и девчонок, с недоумением раскрыл глаза на этот роковой вопрос. Сегодняшний мир сходит с ума по андрогинам, пытается этот вопрос как-то решить, уничтожив разницу. В тексте, главном своде Гермеса Трисмегиста объясняется в самом начале о том, как изначальные двуполые

существа потом разделились на мужчин и женщин. Но можно было бы прибавить: следы этого двуединства остались и для тех, и для других в их природе. Иными словами, мир давно раскрыл глаза на этот роковой вопрос, и до сих пор почему-то никто не сказал простую вещь о том, что мужчина и женщина ипостаси. Но ипостасность ведь столь различна, столь бесконечно многообразна. В мужском сообществе своя ипостась; между мужчинами и женщинами есть другие, совсем другие ипостасные связи. И поэтому чем больше разграничиваются те и другие, в рыцарственном сознании человеческих поколений в разных странах, у разных народов, тем больше встаёт неразрешенный до сих пор вопрос об ипостасном единстве человечества. Страшно подумать даже: Беатриче ипостась Данте. Я чувствую, как он содрогается там, в том мире, услышав отсюда эту формулу. Хотя я думаю, он там уже этот вопрос разрешил. Такой, как Данте, должен был это сделать.

Любовь, которая движет солнце и другие светила, вечная женственность у Гете – это выход к решению, к осознанию двуединой ипостасной природы. И незачем здесь переделывать природный опыт. И смешны попытки этих андрогинных мечтаний. Можно испортить природу, пытаюсь преодолеть ипостасность. Её нельзя преодолевать, её можно осознать – особым, молитвенным сыновним чувством, признающим творческую силу, признающим право на обожествление женщины, признающим благородство рыцарственного чувства. Чувство поэтическое тоже рыцарственное. Но чрезвычайно важно именно сегодня, именно сейчас, когда мир сходит с ума, проникнуть в одну из тайн ипостасности. Тайну двуединства человеческой природы. И это будет тайна любви. Любовь – не преодоление ипостасности; наоборот, это порожденное ипостасностью сознание, и не только сознание, вся жизнь. Всё величие подвигов; вся сила вдохновения; всё то, что делает женственность вечной. Но это именно ипостасная правда о том, как решить этот роковой вопрос. Слова Мефистофеля не стоит принимать буквально. Этот вопрос не роковой. Он одно из проявлений счастья бытия. И уж во всяком случае, если оглянуться на всю нашу жизнь, то у меня с моей единственно любимой всё разрешалось. И это было не безбурно, это было не без таких мгновений, когда кажется, что всё разрушится и мы окажемся в разных, противостоящих друг другу мирах, не только отграниченных друг от друга, но ограниченных

этим разделением. И, казалось бы, так легко это совершить, но моя Беатриче спасала меня от этого, действительно, рокового решения ипостасного вопроса. И вот мы прошли всю нашу жизнь в единстве, предельной близости и в этом родственном и счастливом разграничении, когда и самые счастливые дни, мгновения, эпохи нашей жизни сменялись ничем не утолимой, ничем не разрешимой трагедией бытия; воистину самым страшным, что только может случиться. Когда уходит третий, когда уходит наша ипостасная любовь к тому третьему, кто своим необъяснимо прекрасным сыновним чувством отвечал нам. К тому, кто приходил этой бессонной ночью. Вот эта неутолимая боль все больше и больше, чем ближе грань ипостасей, временная грань, – всё больше и больше входит в душу мою и в душу моей Беатриче. Вот вся эта наша жизнь, чем дальше, тем больше возвращает нас к себе и к нашему сбывшемуся и несбывшемуся счастью. И здесь не нужна идеализация. Здесь нужно только научиться говорить точным словом о правде всей нашей, от начала до конца, пройденной жизни. И вдруг открыть для себя возможность вновь рождения. И когда этот фантастический шёпот Беатриче, которым она спрашивала меня о том, согласен ли я, сохранив своё сознание нынешнее, стать младенцем, зачатая, родиться вновь, быть собою и быть другим собою, я спрашиваю себя: а вот это наше счастье любви, оно тоже уйдёт, как ушёл Миша? Или будет напоминать нам о том, что оно не ушло даже за гранью моего и твоего ипостасного бытия. Я очень ясно переживаю ответ на этот вопрос. Я только не умею найти нужные слова, но я их найду. Тем более, что это тоже один из сюжетов ненаписанной повести. Главный сюжет. Тот сюжет, который ипостасно соотносится с нашей судьбой.

Да, утренняя моя молитва обращена к моему божеству, которому я верен и в которого я верю. И сегодня утром эта верность и верование подобны моему вновь возвращающемуся зрению. Оно, казалось бы, уходит и возвращается. И в ту бессонную ночь Миша напомнил мне о том, что оно будет возвращаться и вернётся, когда я буду собою другим, и когда в этом невообразимом существовании вновь родится наша любовь. Надо успеть сказать о ней, те слова, которые я в этом новом существовании, пройдя младенчество, отрочество, юность, новую зрелость и богатство сил, прочту однажды в каком-то тексте, который я узнаю как свой текст. Как то, что родилось и может родиться сейчас, пока мы рядом. С этой памятью о

бессонной ночи как о счастье возвращения. Как о счастье преодоления того, что может случиться на грани до конца прожитой жизни.

13 декабря 2019

Любовь состоялась, прошла через все дни, десятилетия, через всю судьбу, в которой слились наши судьбы. И вот сейчас, когда уже всё совершилось, можно, но не очень много, пофилософствовать о том, что это такое. По Тютчеву, «Любовь, любовь – гласит преданье – /Союз души с душой родной – /Их съединенье, сочетанье, /И роковое их слияние, /И... поединок роковой...». Маяковский, строго отбирая для себя тех, с кем он внутренне вступал в диалог, тех из поэтов, назвал Анненского, Тютчева, Фета. И он употребил ту же формулировку, то же определение, только прибавил ещё один эпитет «смертельный» любви поединок. Он соединил это философское понятие о любви с Голгофой. И Голгофу в поэме «Про это» сделал главным кульминационным сюжетом. Ну, о том, что такое любовь у Достоевского, достаточно сказано им. И о смертельном поединке. И Гамсун, у которого, как давно замечено, нет счастливой любви, поединок между двумя природными сознаниями сделал главным лирическим мотивом всех своих лучших романов. И в «Пане» это особенно выражено, в романе «Пан». Всё так. И, кажется, нечего добавить.

Но если всё же попробовать. У Гамсуна нет выхода на Голгофу. У Маяковского это главная тема, поскольку тема любви для него самое главное. И вот получается, что Маяковский ближе других подступил к тому, что я называю ипостасностью в самом существе любви. И в самом деле, любовь сугубо индивидуальна. И здесь могут быть те ситуации, которые названы поединком и даже смертельным поединком. Любовь личностна, когда оказывается, что чувства к одному человеку становятся неким принципом, откровением, собирающим и ведущим за собою людей. Ну, это есть у Маяковского, в той же поэме «Про это»:

Что толку – тебе /одному /удалось бы?!
 Жду, /чтоб землёй обезлюбленной /вместе,
 чтоб всей /мировой /человечьей гущей.
 Семь лет стою, /буду и двести
 стоять пригвожденный, этого ждущий.

У лет на мосту /на презренье, /на смех,
 земной любви искупителем значась,
 должен стоять, /стою за всех,
 за всех расплач-у-сь, /за всех распл-а-чусь.

Эти великие в русской и в мировой поэзии строки говорят именно о личностном начале. Чтобы любимая пришла к человеку из-за 7 лет, ждущим любви на мосту, нужно, чтобы изменилось всё. Потому что у Маяковского любимая – как все. Вот почему нельзя позвать её одну на этот феерический мост будущего. Нужно звать всех, и вместе со всеми придёт она. Это предельно выраженное личностное проявление любви. И кажется, оно целиком основано на мотивах Евангелия. Ибо Голгофа главный сюжет. И всё же, не побоюсь сказать, и у Маяковского, даже в поэме «Про это», ещё не сказано об ипостасности любви. Ибо, повторю немного, любовь индивидуальна, любовь личностна, даже до крестной муки на Голгофе. Но любовь и ипостасна. А в христианской концепции и в христианской мифологеме, христианской проповеди, исповеди и в христианском откровении ипостасность присуща только божеству. Бог отец, Бог сын, Бог Дух Святой. И, казалось бы, не распространяется на отношения Спасителя и человечества.

Но ведь в христианском вероучении Христос ипостась. Неужели он не переносит это своё свойство на своё свершение, на свою крестную муку, на спасение людей, на этот исповедальный и бездонный, как подлинное откровение, призыв по всем людям: «Живите, как я. Уподобьтесь мне. Я есмь истина и путь, потому что я сделал ипостасно божеское и человеческое. Умирайте друг за друга, как я на кресте, и только тогда вы спасетесь. Иначе всё ваше неипостасное существование это долгий, растянувшийся на века процесс гибели, умирания». Неужели всё то, что я пытался сейчас сказать, и живёт в образе Христа, в его индивидуальности (а у него есть индивидуальность), его личности и в его ипостасности? Причем, индивидуальное, личное и ипостасное, как уже приходилось говорить, ипостасны по отношению друг к другу. Это труднее всего понять. А вместе с тем, это доступно людям. Только ещё не было сказано, осознано, как мне представляется сейчас, пока только в разговоре с самим собою. Поэтому великий сюжет Евангелия и подобный ему, ипостасно подобный ему, сюжет поэмы «Про это», с оглядкой на Данте, с оглядкой на Тютчева и объективно

на Гамсуна, вот этот великий сюжет, это откровение, кажется мне, доступно для людей. И для меня самого. Разгадано мною. Я соберу весь свой духовный опыт, все мое посильное знание и, может быть, опровергну то, что я сказал сейчас. А может быть, будет подтверждение. Но оно потребует ещё одного сюжета, сюжета той ненаписанной повести, подступом к которой вот и оказывается этот ежеутренний разговор с самим собою.

Любовь это совсем особое, – и индивидуальное, и личностное, и ипостасное – выражение, воплощение всеобщего свойства бытия. Ипостасности как таковой, осознанной и неосознанной, связующей всех. Но совершающей это единство через всё, сугубо замкнутое на отдельную судьбу, проявляющуюся личностно для тех, кто вступил на путь личности, и, наконец, ипостасно для тех, кто осознал вполне это всеобщее свойство бытия. И получается, что, о чём бы я ни говорил в этой беседе с самим собою, я говорил о любви. Но сюжет, тот сюжет, который бы выразил сполна это предчувствие, а может быть, это знание, ещё не создан. Потому и повесть не написана. Мне кажется, если природа продлит мои дни, я всё-таки обнаружу этот сюжет для себя, пока только для себя. Весьма критически оценивая его, весьма сомневаясь, в том, насколько это и впрямь прикосновение к той самой тайне тайн, о которой вряд ли догадывалась и Анна Ахматова, ибо она сказала: «Тайна тайн во мне опять». Для неё всеобщее воплощалось в сугубо индивидуальном. И это сугубо индивидуальное, выразившееся так полно и гениально в поэме «Без героя», которая для меня стоит рядом с поэмой «Про это» Маяковского, вот это сугубо индивидуальное чувство замыкается на одной, таинственной для всех, лишь приоткрытой слегка индивидуальной судьбе. Ахматова – индивидуальное проявление. Маяковский – личностное. Где же ипостасное проявление, где же подлинно ипостасное, ипостась этого воистину держащего всё бытие, соединяющего, объясняющего, творящего бытие свойство этого бытия? Ну что ж, буду погружаться в этот мой черновик. Потому что любовь состоялась. Конечно, как сугубо индивидуальное, объединяющее меня с моей Беатриче чувство. Как то, что во многом определило и мою и её личность, но она состоялась как ипостасная сущность нашей общей жизни, нашей единой судьбы, которая утвердила себя, победила, сказала о себе на рубеже, когда ипостась нашего существования подходят к своей грани, за которой начнётся переход в новую ипостась. Что

ж, буду молиться этому божеству, ибо оно для меня самое тайное и самое явное, явленное за всю прожитую жизнь моё божество.

14 декабря 2019

В детстве я уже прочитал о том, что Данте не стремился к близости с Беатриче. И что такое платоническая любовь мне было известно уже тогда. И в самом деле, он женился, она вышла замуж, и это не была та близость, которую называл я любовью. Но я знал, что это любовь. А потом уже, взрослым, я прочитал у Пришвина в том же стихотворении в прозе «Тяга»: «Дело не в том, пришла она или не пришла, а в том, была любовь или не была». Сама любовь это счастье, которое ничем нельзя заменить. «Но тут вечер наступил, – пишет Пришвин, – и я понял, что вальдшнеп уже не прилетит, и сердце сжалось болью и горечью. И я сказал себе: охотник, охотник, зачем ты тогда её не удержал?» Я – это Пришвин, у которого я это прочитал. Но я с моей Беатриче был близок всю жизнь. И когда был близок впервые, я вдруг почувствовал, что это тот предел, за которым начинается другая жизнь и которым открывается иное существование. Я почувствовал, что пережитое – именно то, что мне снилось, о чём я мечтал, о чём я много слышал, читал как о некой тайне, как о чём-то таком, о чём даже нельзя говорить, но что несёт в себе высшее утоление. Это было в первый раз. И первое в этом чувстве, в этом событии – всегда самое верное. Я тогда же мгновенно подумал о том, что это счастье, что я запомню. А мог бы не запомнить и тогда на всю жизнь не понять, что это такое. Это конец моей жизни, начало другой моей жизни. И такое начало, когда колеблется и исчезает граница между нашими с ней жизнями. Я точно помню, что именно так я мгновенно подумал тогда. А потом, казалось бы, всё забылось, но я знал, что я это помню. И невольно забыл то, что знал хорошо. И вот вспомнил сейчас, ибо только сейчас по-настоящему подтвердилась правда того чувства, не ощущения, не этого физического счастья, а ощущения сознания. Искра сознания в тот первый миг близости была наивысшим счастьем. И я понял, что я подарен природой так же, как другие. А до этого мне казалось, что я обделён, обделен этим даром. Я не то что не был уверен в том, что это счастье выпадет мне тоже. Я просто знал, что оно есть у других, а у меня его не будет. И вот оказалось, я пережил его, я испытал его и понял, что я

никогда не найду слов, чтобы это описать. И понял, почему об этом лучше не говорить и лучше не пробовать словом прикоснуться к этому. Право на то мне даёт только ощущение нынешней грани моей ипостаси, той грани, за которой начнётся другое моё существование. То существование, в котором я забуду это. И то, что я сейчас помню и хотел бы себе самому в этом разговоре с собою сказать об этом, последняя вспышка, которая тоже мне подарена. А я почему-то всю мою жизнь знал об этом первом мгновении и знал о нём то, что оно никогда не вспомнится мне, хотя я его знаю. И вот оно опять явилось мне. Чем больше такой близости, она может быть только между избранными друг для друга, так я почувствовал на всю жизнь, так я и жил. Я не знал других таких первых мгновений. Да их и не может быть с кем-то другим. Это то, что даётся и отнимается природою, Богом. И то, что по-настоящему не воспето, когда молчат о любви, молчат о той полноте знания, которое бывает в первый миг, а потом ипостасно повторяется всю жизнь. Но оно уже не первое. Хотя, наверно, я ошибаюсь. Я потому и забыл первое мгновение, что оно каждый раз было первым. Вот я и теперь путаюсь в словах. И это признак подлинности памяти, сознания, завершённой ипостаси, которой открывается совсем новое, другое, то же самое, подаренное природой. Я чувствую, что при всём желании сказать об этом все слова, которые об этом будут сказаны, это ипостась молчания. Как бы ни пытался кто-то написать это первое или каждый раз первое переживание, всё равно это будет молчанием о нём. И вот, кажется, я доживаю до той минуты, когда буду властен сказать точное слово. Неужели это, точно, будет мой последний миг или молчание, которое длилось всю жизнь об этом, было той молитвой, той подаренной мне правдой сознания, высшего сознания. И вот сейчас я чувствую – надо мной нависает запрет, запрет вспоминать, запрет говорить, потому что всё сказано моей судьбой. И уже сейчас, уже в этом существовании, не только сейчас, а во всём этом моём существовании, это сказанное было сказано не только мною, но и той, кто мне подарила высшее блаженство любви.

15 декабря 2019

Пускай меня преследует Господь
И снова гонит от родного дома.

Она любила молодую плоть,
Она меня любила молодого.
И целых 7 веков меня звала
За нею следом улететь куда-то,
Где будут наши юные тела
Восходом солнца в сумерках заката.
Итак, дерись до положения риз,
Отдай себя абстракциям и фразам.
А Бог предпочитает афоризм
О том, что тело это высший разум.

Ну и так далее. Тело это высший разум. Ницшеанская формула. Но она имеет для меня другой смысл. Моя ипостасная вера, как уже приходилось говорить, не отделяет души от тела. Не отделяет душу от того, душой чего она является. И сама минута высшего блаженства, казалось бы, телесное и только телесное, на самом деле – чудо, предвкушение, а может быть, и осуществление того, что вновь родиться ещё одной ипостаси. И ты приобщен к этому всемирному, абсолютному чуду вновь рождения бытия. Так было у меня.

Вот я перелистываю прежнее, в детстве ещё мне доставшееся издание «Божественной комедии» в переводе Чуминой. Ну, там гравюры Доре. Одна из них, относящаяся к третьей части поэмы, изображает Данте, стоящим на облаке и молитвенно обращенным к другому облаку. Тому, которое выше его. Там стоит Беатриче и смотрит ввысь. Она видит Бога, а он видит пока ещё только её, вознесенную над ним, отдаленную от него, в мире райских теней. Когда я впервые рассматривал эту и другие гравюры Доре, я, конечно, тоже молитвенно был устремлен к отсутствующей тогда для меня Беатриче. И я верил в то, что когда-то буду смотреть ввысь, попытаюсь выйти из себя, оставить мою плоть. Несмотря на то, что чудо её вознесения в райские сферы состоялось, вот я, живой человек, с моим телом, с тяжестью этого тела, стою на облаке, и облако выдерживает меня. Но я смотрю на то, как свободна и невесома Беатриче, стоя на своём облаке, более высоком, устремлена душою и взором к Богу. Тогда это была моя детская формула. Я думал, что так не только было, но так и должно быть. И что это предстоит мне, когда я совершу свой жизненный путь. Но произошло всё совсем иначе. «Она любила молодую плоть, она меня любила молодого». И спустя столько

десятилетий, уже одарённый счастьем любви, я говорил самому себе, что я ещё ни разу не взглянул на самого себя её глазами. Но дело не во мне. А дело в том, что и моё тело – высший разум. И она, дав мне возможность взглянуть на меня самого её глазами, устремила меня к божеству. И божество это – вот оно, то, в чём я пребываю. И сама она – божество, пребывая в себе. И наши юные тела – восход солнца в сумерках заката.

Почему восход солнце в сумерках? Уже тогда я видел эти сумерки и уже тогда понимал, что это священное чувство земной любви телесно и духовно. И оно начало нового дня, нового света бытия. И я достоин это познать и пережить. И каждый раз это как будто в первый раз. И я вплотную приближен к божеству, и это божество – ипостасность. Дело не во мне. Дело в том, что мне открывается тайна всего бытия, дано её пережить, дано быть причастным к ней. И это то, чему я не изменю никогда. Конечно, я виноват во многом. «Я не умею жить моей виной, /Хотя она почувствована всеми... /Любимая стоит передо мной, /Верна любви и не верна поэме». Да, в этой поэме Беатриче готова была признаться в своей измене. Но она изменяла поэме и была верна любви. Вот то, что, мне кажется, должно совершиться. Душа вернется. Это будет та же, но другая душа, которая вернется в то же, но другое тело. И оно встретит другую, но ту же Беатриче, и опять это будет первый раз. И чудо этого перворождения не останется в прошлом, воспоминаниях, терцинах, строфах, а будет вновь подарено жизни в бытии; бытии, воплощенном, но в бытии, которое никогда не может быть вполне воплощено и всё равно стремится к воплощению. И в этом стремлении божественная и человеческая воля, которую ещё нужно почувствовать и воспеть. Как мог, я это сделал в моей уже не такой юности. Те годы, которые называют зрелыми, когда я был так счастлив и когда моя ипостась ещё далеко не кончалась. И всё равно сейчас, у грани моего, одного из ипостасных существований, я чувствую, что я смог бы сказать об этом так, как никогда. Зачем же эта грань? И как можно не только пожелать, но и подвинуть её, раздвинуть её прозрачность, не дающую мне пройти, и сделать так, чтобы, пройдя её, я бы вновь начал как в первый раз. И не утратил бы того счастья, которое уже выпало мне. Горе, страдание, невыносимая мука – еще невыносимее сейчас. Ибо того же ищет и ждёт ипостась Миши. Она встаёт не между нами, она третья ипостась. Хотя на самом деле, вроде бы вторая. Нет, я чувствую, как нарастает сила любви,

невыносимо страдая от того, как мой высший разум – моё тело – уже бессильно воплотить вполне это счастье и поэтому ждёт и торопит. Ждёт вновь рождения и торопит его.

17 декабря 2019

Любовь, возносящая к небу, и любовь, ниспосланная на землю, ипостасны в себе и между собой. Я был бы счастлив, если бы смог хотя бы намёком сказать об этом родстве. А если бы люди вообще узнали о нём, как о законе бытия, может быть, что-то воистину изменилось бы. Конечно, можно выливать в раковину каждый день по кружке воды. И если делать это ежеутренно, то можно надеяться, что мир изменится. По Тарковскому – жертвоприношение. Но если весь мир осияет вера, философская мысль и образная правда о том, что эти две любви, земная и небесная, меж собой ипостасны, а не просто противостоят друг другу, я думаю, мир был бы спасён. Ещё в 44 году, когда мы вернулись из Киргизии, меня пригласили в гости к дяде моему, Самохвалову. Он тогда как бы заново начинал свою карьеру художника. Но у него, вот в том шкафу, который сейчас стоит в моём кабинете прямо передо мной, стояли книги по искусству. Его очень уютная жена Екатерина Петровна по моей просьбе дала мне какой-то большой том с прекрасными репродукциями картин мастеров, как она выразилась.

И там среди других была репродукция «Любовь земная и небесная». И они пытались беседовать друг с другом, но чувствовалось, что глубокого, связующего их разговора, молитвенной ипостасности между ними художник не показал. Две прекрасные женщины. Одна – в шелковом платье земной дамы, а другая обнажённая, сошедшая с неба, с Олимпа, возможно. Смотрели в разные стороны, и разговора между ними я не слышал. Не все, кто сейчас мог бы быть свидетелем моего разговора с самим собою, обрадовались бы такому желанию свести небо и землю. Они сходятся, но на горизонте, далеко. А я хотел, чтобы они встречались всё время. И они встречаются, рядом со мной, и во мне самом, и в каждом. Но как это понять, как об этом сказать точно, ибо здесь и есть абсолютное тождество: любовь всегда любовь, всегда преодоление расстояния или какого-то разделения между любящими. Любовь это воистину поединок, порою смертельный даже. Любовь это то, что может быть осознано образом, передающим их

взаимопереходность. Иными словами, любовь – ипостась того единства, которое держит мир. Земное явление небесной и земной богини ипостасности, святыни, восходящей к христианской вере, подчиненной ей. «Не божеством, не райской тенью увидеть бы тебя скорей. Весенний ветер Возрождения, смятение золотых кудрей. Средневекового покоя в природе нет уже давно, и тело, белое такое, морскою пеной рождено. Но даже над морскою пеной, головку набок наклоня, ты остаешься неизменной и недоступной для меня. Но ты подглядываешь зорко, спокойно стоя на волне. Жемчужной раковины створка тебя несёт навстречу мне. Зачем утаиваешь имя любви, изведанной сполна. Клубись волнами золотыми, священная моя весна». Имя любви, изведанной сполна. Трудно сетовать на свою судьбу тому, кто подарен таким полным испытанием любви. Имя её тоже не в тайне сокрыто, оно не произнесено. Но имя это мысленно повторено столько раз. И этим счастьем я был подарен. Его было много. Поэтому несправедливо сетовать на свою судьбу. Очень важно чувствовать, что то, что тебе близко, и близко, как прикосновение, как живое созерцание, что это, на самом деле, далеко от тебя. Оно в высоте небесной правды, оно за горизонтом и одновременно оно рядом. Да, такое переживание было мне знакомо. И сейчас я вспоминаю о нём, как о том, о чём даже вспоминать невозможно, ибо оно и сейчас рядом. Неужели такая вера что-то утрачивает в душе? Неужели, если верить так, и верить в то, что осуществилось, то, что было и вновь рождалось каждый день, что вот эта вера менее духовна, чем молитвенная устремленность к небу? Она включает в себя эту устремленность, и она возвращает назад. Небо любовно низводит твой полёт на землю.

В одном из стихотворений, вошедших в моего «Данте», само бытие предстаёт как некая сфера в океане небытия. Зеркальная изнутри, которая отзеркаливает в центр себя. И там, на Земле, – путь, истина. И отзеркаленный внутрь, ты возвращаешься на землю, как на изумрудную планету в рассказе, чудном рассказе Достоевского «Сон смешного человека». Там герой впервые оказывается на этой планете. Она во всём подобна земле, но там не было грехопадения. А у меня в моей грезе это возврат к тому, что уже совершилось. И вот этот необозримый, неизмеримый в радиусе шар, эта сфера бытия стремится, летит в небытийном океане и вновь и вновь дарит тебе счастье и радость жизни. Я думаю, что и две религиозные идеи, царства

Божия в небе и царства Божия на Земле, должны, призваны ощутить роднящую их ипостасность. И когда это совершится, когда безумие сегодняшней земной планеты сменится выздоровлением и даже не будет средневекового покоя, она опять почувствует это удивительное, святое и явственно явившееся, явственно пришедшее к тебе созерцание земной и небесной красоты в одном образе, оно, если оно вызовет подлинную веру и верность, спасёт мир. И это говорю я тогда, когда со мной происходит такое, когда я ощупываю грань своей ипостаси. Может быть, в самом деле, попытаться найти некую формулу, которая мне грезилась всю жизнь, не была осознана и вот сейчас на этой грани со всей ясностью и отчетливостью встает передо мной. Что ж, попробую. И мне кажется, был у меня вчера разговор с одним из дружески проникших в мой мир критиков, разговор, дающий мне знать о том, что у меня есть читатель. И сейчас, когда я произношу эту свою утреннюю мантру, – читает меня. Да и сам я вижу сейчас себя как читатель, тот, кто перевоплощен в читателя и впервые проникает в этот мир. И только проникнув в него заново, ощущает, что это воистину заново. Неужели кто-то ещё так же может прочитать – то, что удалось, хоть отчасти, выразить словом.

И неужели эта формула предстанет не как что-то уже миллион раз сказанное, а как то, что по-весеннему радостно, порывно, впервые явилось сегодня. И вспыхнет передо мной как раз на этом рубеже перехода. Перехода ипостасного, который я постигаю вот уже четвертый месяц непрерывного погружения в это состояние. Погружаюсь в него и уже ничего не боюсь. И в этом спокойствии, созерцании и сопричастии с весенней роскошью, золотой роскошью моего Возрождения, принимая его как Возрождение, и не как Возрождение, а как вновь рождение, к которому я готов и на которое я согласен. Ведь вот то, что мне предложила моя Беатриче: «Хочешь, я дам тебе эту, может быть, более страшную, чем смерть и Голгофа, жизнь младенца, при которой ты можешь только то, что может младенец, а осознаешь всё, что осознаешь сейчас, хочешь?» Я содрогнулся тогда. А сейчас я согласен. Согласен на это самое мучительное и самое счастливое осознание счастья бытия. А если я согласен на это, что может быть мне пугающим предзнаменованием и образом? Мне уже воистину ничего не страшно. И моя вера и верность кажутся мне сейчас возвращающимся ко мне зрением, которое, как будто, должно от меня

уходить. А вот возвращается, и я опять вижу всё чётко, радостно и бесстрашно.

Фауст не был подарен таким счастьем. И это несмотря на то, что, конечно, нескромно, но в разговоре с самим собой можно сказать, что много общего между им и мной. Да-да, мной. Вроде бы, я тоже был погружен в сферу научного знания, того, филологического, которое было мне близко по профессии. Потом счастье и горе отцовства. Правда, совсем не такое, как у Фауста. Он всю жизнь был бездетным, а потом, после посещения кухни ведьмы, став молодым, он мог быть отцом. Но страшная, невыносимая трагедия с Гретхен лишила его этого счастья. Гретхен убила свою дочь, и это была расплата за любовь Фауста к ней. Как удалось Гете самое ужасное в чувстве и судьбе Фауста сделать таким поэтически прекрасным? Но Гретхен, боясь позора, убила свою дочь. А вторично Фауст становился отцом с Еленой Прекрасной. Эвфорион. Надо же такого сына обрести, как это случилось с Фаустом. Ибо в Эвфорионе воплотились черты гениального романтика Байрона. И это был плод двух миров, которые соединились в любовной страсти: средневекового мира и античности. И здесь тоже Гете велик. Он показал влечение к античности, воистину возрождение, осуществленное в душе Фауста любовью к Елене Прекрасной. Чудо владения Еленой, прикосновения к ней, возвращения её из царства теней, из мира матерей, богинь-матерей. И он безжалостно, беспощадно к самому себе, ибо что-то, видимо, схожее было в судьбе Фауста и самого Гёте, утратил Фауст. Утратил Эвфориона, сына, а тот увел за собою и Прекрасную Елену, свою мать. В царство теней, в мир богинь-матерей. Потом Фауст ослеп. И это тоже страшно роднит меня с ним. Но, во-первых, я ещё не ослеп, и кто знает, может быть, какое-то чудо, внутренний импульс, позволит мне одолеть эту надвигающуюся страшно беду. А во-вторых, всё у меня не так. Я был подарен настоящим счастьем, которое ускользнуло от Фауста. Вот получается, что Гете так и не удалось свести небо и землю. Получалось так, что макрокосмос и микрокосмос не сводятся в человеческом облике и в мире человеческого счастья. Здесь очень многое дано человеку, но больше отнято. И Фауст скорее несчастен, чем счастлив, в своих исканиях, в достижениях, на каждом из этих витков жизненного и духовного поиска. А я был счастлив. Конечно, таких сюжетов, как у него, у меня не было. Но некая общая закономерность даст мне возможность себя соотнести с героем Гете. Это для того, чтобы

противопоставить счастье и несчастье в судьбе человеческой и в соотношении различных судеб. Я думаю, что моё горе, при всем ужасе сознания, которое не может привыкнуть и никогда не привыкнет к этому состоянию, к этой боли, моё горе, о котором я, по-моему, сказал. И сказал по-настоящему, об уходе сына из жизни, его вечного возвращения ко мне и ипостасного будущего, когда мы встретимся, не узнавая друг друга. И, кто знает, может быть, прочитав или услышав то, что я сейчас думаю и говорю, все-таки догадаемся об этой скрытой от нас тайне. Которая сейчас для меня отнюдь не тайна, а моя боль и моя вера.

Вот эта самая судьба, выпавшая мне, всё же открывает какой-то путь к преодолению. И кто знает, может быть, мне всё-таки удастся по-настоящему испытать радость преодоления. Этого преодоления. И кто знает, опять же нескромно, но в разговоре с самим собою возможно, такого ещё не было. Такого не было в сознании бытия. Не только сознание природы. Сознание бытия и небытия, ибо одно с другим ипостасно. Значит, не всё ещё потеряно и утрачено. И та фаустовская жизнь, которую я пережил совершенно по-своему и не так, как он, хотя пришлось переживать схожие, схожие и, конечно, различные. Вот эта фаустовская моя жизнь и правда. И где-то я чувствую, еще и ещё раз рождается сюжет моей ненаписанной повести. Порой даже кажется, что всё то, что я наговариваю по утрам, вот в этот мой диктофон, всё это уже и есть написание повести. И я в этом разговоре с самим собою тоже её персонаж. И всё, о чём я сказал, – это не просто исповедь, не просто точное обозначение словом того, что было в моей жизни и что есть я. И те, о ком я упоминал в этом разговоре, – не просто те, кто были и есть, а это всё персонажи, во многом созданные воображением, рождённые из опыта, из того, что действительно было. Но всё же ипостасные тому, что было на самом деле. И чем больше эта ипостасность себя являет, обнаруживая расхождение и глубинную, глубокую силу взаимопереходности, тем больше оправдана моя жизнь в этой, одной из данных мне ипостасей.

Счастье в одном из подаренных мне существований. Неужели Фауст Гёте не осознавал ипостасности бытия, и в том его трагедия? Да, он заключил договор с Мефистофелем, но Мефистофель мог дать ему только то, что он мог дать. Главную работу пришлось герою трагедии сделать самому, своей судьбой, которую он писал себе сам. И неужели, создавая свою судьбу, с

помощью Мефистофеля, он не осознавал, что всё ипостасно? Нет, он знал, что Гретхен одна, единственная, ипостась. И она никак не может вернуться или вернётся, только возносясь к небу и увлекая его туда. Да, в мир, где «заповеданность истины всей» и куда возводит вечная женственность. Но это прощание с миром земных ипостасей. Неужели Гете, пантеист, натурфилософ, одухотворяющий природу, автор «Метаморфозы растений», тот, кто сказал, что «всё к небытию стремится, чтоб бытию причастным быть», неужели он тоже не осознавал универсальность этого самозарождённого свойства бытия? Как-то странно. Не верится. Неужели, так часто приближаясь к постижению этого закона, никто его не постиг? Не знаю, смеюсь над самим собою. И всё же допускаю такую нескромную мысль. Такую нескромную веру. Вспоминая, что приходилось когда-то писать, я с удивлением узнаю, что я уже давно к этому открытию подбирался. Образно, душевно, фантазией, интуицией. И вот в итоге пришёл к этому центру, «который везде, а окружность нигде». И неужели все неутолённые состояния человеческой судьбы, та необъятная боль и грусть, которая охватывает душу, есть признак подлинности? А вера в ипостасность некая выдумка, которая почему-то посещает меня всю жизнь.

Я перечитал вчера «Страшную сказку», где выражена эта боль. Где я навсегда осуждаю себя за детскую мою неверность, которую можно было бы оправдать тем, что я был ребёнок. Ну, отрок уже. Но я не оправдываю себя. Это моя фаустовская вина перед нею, кошкой, которая полюбила меня так, что ее чувство, может быть, по глубине сознания выше человеческих. Она, та кто шла за мной воду и плавала рядом со мной; она, кто так прекрасно, так точно отвечала моим состояниям, переживаниям, и не только моим. И моего отца, и моей матери. И в итоге, в конце этой страшной сказки, оказалась выше всего человеческого. И неутолимая боль о том, что это нельзя поправить и нельзя её вернуть, нельзя избыть ту вину, которую я чувствую за собою. Что это есть отрицание ипостасности. Бытие чем страшнее, больнее и прекраснее, что оно больше, чем его ипостасность. Вот я перечитал вчера эту сказку. И никогда ещё мое наивное сознание, моя наивность, не переживала таких судорог, такой необходимости разрыдаться. Написана она ещё не вполне хорошо, эта сказка. Что-то надо было бы поправить. И я не хочу этого делать. Текст её, достающийся мне из другой моей жизни, истории, которая была до того, как это со мною случилось, текст этот для меня священен. Это

некий документ из той жизни, которую я считаю ипостасной этой, переживаемой мною сейчас. Неужели вера моя не подтверждается этой страшной сказкой? Надо подумать. Потому что, какие бы ни были впечатления вчерашнего и сегодняшнего дня, чувство, которое такой болью охватило меня вчера, когда я дочитал этот свой, отнюдь не совершенный, даже не отредактированный текст, эта боль сильнее всего. Она возвращает к себе. И кажется, что все сюжеты, которые теснятся в моей душе, все верования – ничто перед этой болью. Надо подумать, надо жить этой болью. И я согласен жить. Я не отгону это чувство. И удивительно, что я, вовсе не желая его отогнать, всё-таки как-то выразил его в слове. В том слове, какое живёт, как мне кажется, в этой моей «Страшной сказке».

18 декабря 2019

Гермес Трисмегист, обращаясь к своему сыну Танту, говорит ему о том, что Бог, истинный и единый Бог, невидим, неосязаем, потому что он творец. Осязуемо и видимо лишь то, что сотворено. Он говорит ему о том, что ты ведь не можешь видеть свою мысль, она божественна по природе, и она есть источник и сила творящая. Всё сотворимое творится ею. То, что в силах быть сотворено человеком. И вот таким образом получается, что настоящая способность видеть – это способность видеть невидимое или, вернее, обходиться без того, чтобы видеть. Это совсем иное общение с Богом. Нечто апофатическое есть в таком учении. Бог вне сотворенного бытия, а бытие сотворено, как об этом сказано в Ветхом Завете. Что делать? Такое учение, а оно, действительно, предвещает Новый Завет, не убеждает меня. Вера в ипостасность бытия, и не только бытия, в ипостасность даже бытия и небытия, ипостасность того, что творит и того, что сотворено, избавляет от необходимости обожествлять невидимое. Она, эта вера, не отрицает невидимое. Но оно, по этой вере, будучи ипостасно всему сотворённому – видимому и осязуемому, действительно, оказывается первоначалом, первоисточником самосотворения и преодолением всего конечного, всего, что чувствует и осязует и переживает границу одной из своих ипостасей.

Я вот думаю, что учению о силе и правде ипостасности предназначено будущее. И представляю себе, как изменится сознание людей, если это учение, и в самом деле, возобладает и прояснится в сознании многих и

многих. В том, что определяет общее сознание, а не только мироотношение отдельных людей или какой-то группы верующих. Но вот если произойдёт то, что у Достоевского названо подобием геологического периода, когда оно станет сознанием всех. Быть может, такой период и в самом деле наступит. Как, по допущению чёрта Ивана Карамазова, период безверия сменит все предшествующие этапы человеческой духовности. И при этом безверие окажется на высоте творческой божественной нравственности, когда человек возлюбит ближнего своего безо всякой мзды, без надежды на загробное воздаяние. И это будет всеобщим, и это, наконец, духовно устроит и обустроит человеческую жизнь, несмотря на её конечность. Чёрт Достоевского отрицает ипостасность. Да и самой мысли, идеи такой нет ни у него, ни у героев Достоевского, ни у самого Достоевского. Нет этой идеи и у Льва Толстого. Ещё и ещё раз убеждаюсь в том. Но она верна. Эта идея, эта верность и эта вера. И если она станет достоянием всех, и в самом деле, человечество устроится. Каким-то подступом к этому была свойственная, ну скажем, советскому периоду нашей российской истории, эпоха безверия. Мы напрасно сейчас пытались бы сказать, что такой эпохи не было. Да, православие жило, жило в сознании отдельных людей и даже очень многих. Духовная традиция не прерывалась. И всё-таки доминантой было другое. То, что связывали с атеизмом; то, что на самом деле было верой в то, что Бога нет. Это тоже была вера, это была религия, и она была на высоте того, что называли тогда коммунистической нравственностью. И она предполагала такое могущество человека в будущем, которое переиграет, переселит, преодолеет, усовершенствует природу и одержит победу над смертью. И даже вернет, может быть, всё умершее. И философия общего дела Фёдорова в этом отношении была вполне созвучна эпохе.

И всё-таки ни у кого из тех, кто тогда так верил и так героически, нравственно отдавал себя людям в войне и в мире, в мире и в Великой войне, ни у кого из них веры в ипостасность не было. Не было самой идеи. А я представляю себе ее торжество, ее побеждающую правду в сознании людей, когда они минуют рубеж во всемирном развитии духовности. Тот рубеж, за которым начнется эпоха ипостасного бытия. И так и кажется, что тогда решатся многие вопросы. Встанут и новые проблемы, связанные с преимущественной любовью. Любовью к одной своей ипостаси, желанием закрепить её, вернуть её, продлить её до бесконечности. Проблем будет

очень много, но это будет совсем другое сознание. И если оно будет основой единения людей, не того, о каком мечтал и какое проповедовал Лев Толстой, основывая это своё проповедование на евангелии, разумеется, понятном им по-своему. Это будет не то единение. Может быть, то, которое примирит язычество и христианство – в пользу христианства, но без ущемления языческой правды. И наконец, откроет путь для опережающей все века и все эпохи проповеди Иоанна Богослова в его Евангелии. Речь идёт о проповеди любви: любите друг друга.

Если уточнить, что эта любовь ипостасна, парадоксальность исчезнет. Чувство это станет не только естественно, доступно, не требующим подвига даже, а подаренным человечеству, как ему подарено сознание, предназначенное для того, чтобы осознать именно это. Таким образом, из христианской проповеди, из христианской веры, которой увенчивается Новый Завет, в Евангелии, в Апокалипсисе того же Иоанна Богослова. И всё это освящено образом величайшим, трижды, четырежды величайшим сюжетом Евангелия – образом Христа, его любовью, его страданием, его вновь рождением. «Для кого на свете столько шири, столько муки и такая мощь? Есть ли столько душ и жизней в мире, столько поселений, рек и рощ?» Для кого на свете столько шири? И вот любовь, любовь сугубо личная, тайна тайн, которая живёт в отдельном человеке, оказывается всеобщей. Оказывается способом к всеобщему, абсолютному единению. При всех драмах, проблемах и при всех будущих евангелиях. Ибо потребуются и подвиг, и страдание. И при всей возможности вернуть и переиграть историю, как об этом сказано в финале поэмы Маяковского «Про это» – «мастерская человеческих воскрешений». При всём при этом будет нечто такое, что нельзя вернуть. Больше того, ничего нельзя будет вернуть. Ибо вернется ипостась того, что ушло, а не та ушедшая ипостась. Впрочем, кто знает? Может быть, это, невысказанное, казалось бы, опровергающее саму веру в ипостасность, желание будет тоже исполнено. Усилием человеческого духа, который всё творимое делает видимым, и который сам видим, ипостасно проявленный в человеке и в человечестве. Вот идея, вот учение, которое было бы спасительно для нашей несчастной России. Если бы только всерьез прислушались к нему, если бы только был построен хотя бы один храм такой веры. Пока я не встретил ещё ни одного человека, который бы в это поверил бы, с этим согласился бы, это принял бы всей душой и таким образом

приблизился ко мне в самые тяжкие и невыносимо, непереносимо страшные дни, недели и месяцы моей жизни. Нет никого, кроме моей Беатриче. В душе которой тоже борется вера в то, что спасительно для меня, и другая вера, которая ещё пока не явилась и не проявилась. Проповедь ипостасности. В ней идёт эта борьба, но она ближе других мне. Она, Беатриче. И я, ничего не боясь теперь, после того, как я заглянул в разверзшуюся подо мною бездну, ничего уже больше не боясь, вновь обретаю счастье. Счастье новой – земной и небесной любви.

«Слово было у Бога, и слово было Бог». И это было в начале. Так сказано в начале Евангелия Иоанном. Но в начале чего? В начале бытия. «Оно было вначале у Бога, и без него ничто не начало быть, что начало быть». Да, речь идёт о начале бытия. Но ипостасная вера говорит о другом. А что было до начала бытия? И было ли вообще начало? Да, вот тут материалистический тезис о том, что материя всегда была, её никто не создавал. Иными словами, что бытие было всегда. Начала его не было.

Ипостасная вера вносит поправку. Было то, что до начала бытия было. А так как оно ипостасно бытию, то, применив к себе свой же принцип небытия, оно, небытие, преодолело себя и стало бытием. И именно это не имело начала, а иными словами, всегда начинало. Иоанн в своём Евангелии по-своему отрицает книгу Бытия в Ветхом Завете. Там сказано: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог «Да будет свет» – и стал свет». Да, это то самое начало. Правда, слово не есть начало всего – так в Ветхом Завете. А Иоанн, получается, иначе. Только через него, через это слово, которое не просто было у Бога, но которое само было Богом, всё стало быть. «Всё стало быть, что начало быть». И в том, и в другом откровении идеи ипостасности нет. Она разрешила бы противоречие между книгой Бытия и последним четвертым Евангелием. Ибо она вполне предполагает небытие, но вносит поправку. Эта вера, эта религия. Небытие в самом себе несёт своё отрицание, ибо небытие ипостасно бытию. И потому его творит. А при чём здесь слово? И как всё-таки понять «слово было у Бога, и слово было Бог»? Если слово «Бог», то значит, этим словом обозначено всё, что, по материализму, было всегда. Материя. Но материализм ограничен, он никак не мог объяснить, как материя могла стать творцом.

Ипостасная вера даёт такое условное объяснение, требующее именно словесного выражения и проявления. Это слово «ипостасность», которое отождествляет, противопоставляет и обозначает взаимопереходность всего сущего и не существующего. Пока дальше этой формулы, кажется, мысль ступить не может. Но будем пытаться, будем всматриваться каждое утро в этот невидимый, казалось бы, образ ипостасности, вслушиваться в это слово. И почему-то кажется, что это молитвенное прикосновение к тайне тайн будет каждый день всё больше приносить радость познания, радость сознания, радость любви. И, оказывается, все это порождает веру и верность. А не наоборот. Итак. В начале была ипостасность. Через неё всё начало быть, что начало быть. Она, ипостасность, была у самой себя. И она была тем словом, которое обозначает всеобщую вечную силу и вечно не преодолимую силу творения всего из ничего. Конечно, это радость. И здесь еще очень много будет открыто и проявлено в моей душе.

19 декабря 2019

Я уже достаточно посмеялся над моей попыткой перефразировать Евангелие. Тем более, у меня был предшественник – Фауст Гёте. И где-то в моих бумагах сегодня утром случайно я обнаружил попытку перефразировать, перевести эти строки из трагедии Гете. Это не перевод, а какой-то стихотворный пересказ. И вот, насколько память мне позволяет, он звучит так. «Евангелие мне предназначало /Уладить слово и первоначало. /Однако, слово для добра и зла /Первоначально мысль произнесла. /А чтоб она его произносила, /Первоначально возникает сила». Но это недостаточно. И вот, вот совершенствуя мой перевод «И всё обдумывая до предела, /Я напишу: в начале было дело». Ну вот, вспомнил. Я посмеялся над своей попыткой поставить вместо слова, вместо мысли, вместо силы и вместо дела ипостасность. А вот сейчас, только-только придя в себя после крепкого утреннего сна, я думаю, что в этой моей формуле не так всё смешно.

Прежде всего, в Ветхом Завете в книге Бытия выражение «в начале» («В начале сотворил Бог небо и землю») имеет несколько, может быть, другой смысл, чем то же выражение по-гречески в Евангелии от Иоанна: «в начале было слово». Нужно ещё доказать, что и там, и там выражение «в начале» имело один и тот же смысл. То есть, прежде всего. В книге Бытия

сказано четко, определенно: в начале сотворил Бог небо и землю. То есть всю Вселенную. Её не было до этого. Бог был или не было его – об этом не сказано. Говорится только, что впервые появилось небо и земля по воле Божьей. То есть здесь указана очередность. То, что, условно говоря, можно было бы назвать небытием, сменилось бытием, как только появились небо и земля. А в Евангелии от Иоанна «в начале», может быть, имеет иной смысл. Прежде какого-то явления в бытии есть причина. И причина эта – слово, Божье слово. Правда, у Иоанна тоже сказано определенно и чётко: «оно было в начале у Бога, оно было Бог. И без него ничто не начало быть, что начало быть». То есть, вроде бы, смысл тот же самый, как и в книге Бытия. И тоже говорится о некоей очерёдности: в начале был Бог, и кроме него и без него ничто не начало быть, что начало быть. Всё-таки какие-то оттенки смысла разные в той и в другой формуле. Ибо одно дело «в начале сотворил Бог небо и землю» и совсем другое, если бы, скажем, в начале был Бог, то есть слово. Вот уже здесь Фауст, если следовать точному дословному переводу, а не моему переложению, размышляет так: «Слово я не настолько ценю, чтобы поставить его в начало. Наверно, нужно написать: в начале была мысль. Но и здесь я не очень уверен. Вероятно, всё-таки правильнее сказать: в начале была сила. Но я чувствую, пока пишу это всё, все эти варианты перевода, что это не то. Это не то. И вот, наконец, истинный смысл мне открывается. Я сам себя сбивал с толку. И твердо пишу: в начале было дело».

Так как же со всей этой градацией значений, значений того, что обозначено словом «Логос», соотносится моя любимая ипостасность? Можно ли сказать, что до всего того, что было, была ипостасность, то есть она была до ипостасей самих. И для того, чтобы была ипостасность, нужно, чтобы были они, эти ипостаси. А я утверждаю своей мудрой формулой, что ипостасность была раньше. И что она была у самой себя, и что она была собою, и что через неё всё стало. Всё начало быть, что начало быть. Родилось бытие. Но конечно, в моей формуле более скромный смысл. Сама ипостасность, как мы уже в начале нашего разговора с самим собою определили для себя, ипостасность указывает внутреннюю последовательность рождения всего сущего. Сущего в многообразии, во множестве своих проявлений, ибо без этого для меня нет бытия. Вначале – тождество всех явлений, неразличение отдельных сущностей и существования или неспособность их различать вначале. Потом резкая,

явившаяся способность выделять вещи, явления, отделять их друг от друга, осознавать их уникальность, их неделимость, их индивидуальность, их единичность, их противопоставленность друг другу. И третье – самое существенное, без чего нет жизни, – взаимопереходность между этими существованиями и сущностями. И это происходит одновременно: тождество, разделение, взаимопереходность. Казалось бы, одновременно являют ипостасность. И вместе с тем, это всё и есть некое условие бытия, некое свойство бытия рождают самое себя. Вначале – нерасторжимое единство, сначала, тут же, одновременно, но всё-таки вторым шагом, – индивидуализация и третья, завершающая, возвращающая к началу, – взаимопереходность. И всё это вначале. В том смысле, что так, именно так бытие само рождает себя. Это в начале всех вещей, всех явлений. Можно найти синоним – движение.

Но понятия движения всё же недостаточно. Ипостасность точнее. Это понятие вскрывает сущность самого себя. Ипостасность обнажает свою внутреннюю структуру. Может быть, какую-то подлинную тайну себя самого. И поэтому весьма условно я мог бы сказать, что в начале была ипостасность. Получается ещё и то, что она приравнивается к Богу самому. Если оглянуться на первоисточник, на Евангелие от Иоанна: «слово было у Бога и слово было Бог». Ипостасность – свойство Божественной воли, и она же – само Божество. Не так уж это смешно. В самом деле, может быть, здесь какая-то микроскопическая, но всё-таки есть доля приближения к правде в мире предельных религиозно-философских абстракций. Тем более, что формула, которую я поставил вместо Бога, так же непостижима, как и сам Бог. Кто создал ипостасность? Что было до того, как она оказалась созданной? Можно ли вообще верить в то, чего не знаешь, или только в это и можно верить? Иными словами, где начало всех начал? По Гете, начало всех начал – деяние. Фауст результат первого акта сотворения объявляет первоначалом: «В начале было дело». В Евангелии от Иоанна есть внутренняя, повторим, последовательность, уточняющая сама себя: слово, мысль, сила, дело. А я, грешный, пытаюсь сделать ещё один маленький шагок.

Я пытаюсь понять внутреннюю динамику этой структуры: как возникает слово, как возникает мысль, как является сила и как совершается дело. Вначале тождество, неразличение сущностей; потом их разделение; и тут же, одновременно с первым и вторым – жизнь, взаимопереходность. И для того,

чтобы жизнь была, нужно, чтобы она была первоначально. Нужно, чтобы взаимопереходность мгновенно возвращала к тождеству, а то – тут же рождало индивидуализацию, разделение. Оно тут же порождало возможность взаимоперехода. Сколько бы я ни пытался сейчас это уточнить или это соотнести с каноническими формулами Библии, пока я не могу продвинуться дальше. И поэтому вера моя это не просто вера в то, чего я не знаю. А это вера в то, что я интуитивно чувствую как некое, достаточное для себя, единство. Творящее. Единство, которое достойно веры. И почему-то вновь сегодня утром, чем больше я пытаюсь углубиться в эту формулу «в начале была ипостасность», тем больше это дает мне опоры и даже пробуждает радость. Мое «в начале» – это не только последовательность, как в книге Бытия, ибо небытие и бытие для меня тоже ипостасны. Это некое указание на основу, на то условие, без которого нет творящей силы и нет движения, являющего тайну тайн в самом себе. Таким образом, моё определение, моя формула более скромна. Но вместе с тем, она, как мое ускользающее от меня зрение, может быть, на какую-то секунду более сфокусирована. И я вижу то, что вот сейчас, тут же, сразу исчезнет. А потом, если я не потеряю сфокусированность моего зрения, явится опять и на какой-то миг даст себя разглядеть. Да, это мой вариант. Так что перифраз, попытка по-своему, на своём языке, пересказать Евангелие, может быть, мне и удалась сегодня.

Хочу добавить. Если в самом деле для меня бытие и небытие ипостасны, то здесь указание на то, как бытие началось. А оно началось не так, что в начале было небытие, а потом явилось бытие. Если то и другое ипостасны, то мгновенная смена состояний, тождество того и другого, должно переходить в их резкое разграничение. И тут же становится взаимопереходностью между этими двумя ипостасями. И когда и то, и другое, и третье соединяются, оказываются неразрывны, едины, и одновременно едины, тогда можно будет и в самом деле сказать, что это и есть начало всех начал. Неужели и в самом деле так? Надо как следует обдумать, записать это. Разумеется, предварительно посмеявшись над моей скромной попыткой перевести Евангелие.

20 декабря 2019

«Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи. /Старца великого тень чую смущенной душой». Это Пушкин о переводе «Илиады» Гнедича, о том переводе, о котором ещё недавно написал: «Крив был Гнедич поэт, преложитель слепого Гомера, /Боком одним с образцом схож и его перевод». Эта вот эпиграмма о кривом Гнедиче-поэте, старательно была зачёркнута в рукописи Пушкина. Он себя поправил. Я с удивлением вспоминаю, что я, вовсе не будучи Пушкиным, пережил почти то же самое. Когда отец принёс из библиотеки томик Гомера с переводом Гнедича, я сразу почувствовал, что это какой-то особый текст, особый стих. И стал переписывать, и переписал первую песнь «Илиады» в свою общую тетрадь. И конечно, пока переписывал, вживался, вслушивался, вчитывался в эту божественную речь. Тогда, как нам казалось, не очень просто было достать Гомера. Книгу надо было возвращать в библиотеку, в читальный зал, откуда отец её принёс (ему давали на дом некоторые книги).

И я опять остался наедине только с первой песней «Илиады», которую выучил, невольно выучил, почти наизусть. Даже сейчас могу прочитать, продекламировать этот божественный текст. Но потом мы как-то заглянули в книжный магазин с мамой на Невском проспекте. Я увидел в витрине «Илиаду», где написано было на титульном листе: перевод Минского. И по моему особому взгляду мама поняла, что мне надо купить эту книжку. Издание «Шиповник», без обложки, прямо начиная с титульного листа. И вот дома я приступил к мгновению, которое тоже хотел бы повторить и с него начать мой другой, ипостасный вариант жизни. Я взял чертежную доску, как следует её вымыл, вытер, высушил, она стала идеально чистой. Сел на папину солдатскую кровать, положил доску себе на колени, а на эту доску книгу в переводе Минского. И принялся читать. Я привязывался обычно каким-то особым любовным чувством к тому, что имею. Гнедича у меня не было. Минский вот был моим. Я решил, что буду его любить. Первую песнь «Илиады» я уже знал наизусть. И когда читал в переводе Минского, я все время чувствовал: да, я люблю этот перевод, потому что он у меня есть, но это не тот божественный перевод – «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса. Пелеева сына, /Грозный, который ахеянам тысячи бедствий соделал:» и так далее, вся песнь до конца. Я всё же прочёл всю «Илиаду» в этом более простом, но

лишенном той божественной силы переводе. И вот представляю себе, как Пушкин, по воспоминаниям свидетелей, слушал однажды в исполнении Гнедича его перевод и морщился. И будто бы, когда Гнедич подошел к нему после чтения и сказал: «Александр Сергеевич, укажите стихи, которые вам не понравились», он будто бы сразу, экспромтом, произнёс свою эпиграмму: «Крив был Гнедич поэт, прелогатель слепого Гомера. Боком одним с образцом схож и его перевод». Что имел Пушкин в виду? Он, что, знал этот образец? Знал, что Гомер, по сравнению с Гнедичем, более прост? Что у него просто сказано, что собрание ахейских царей распустилось, все разошлись. А у Гнедича это перефразировано: «разрушился сонм...» Ну, и многое другое. Весь текст гнедичевского перевода, и это уже давно замечено, пришлось бы приводить почти каждый стих. Но в нём, действительно, в этом переводе дышал умолкнувший звук божественной эллинской речи. И я, благодарно дочитывая простой, но лишенный поэтической мощи перевод Минского, по-настоящему на всю жизнь понял превосходство этого, почти на церковнославянском языке, почти как церковнославянская Библия, сделанного перевода. Кстати, тогда ещё не было русского переложения, перевода Ветхого и Нового Завета. Читали по-церковнославянски.

И вот Гнедич создал совершенно особый, русский и русско-церковнославянский язык Гомера. И понятно, почему он создал такой язык. Здесь чувствовалась и древность текста, его священная мощь и сила, и та необычайная выразительность, которая уходит, когда мы отдаляемся от прошлого, и возвращает к себе мощью и красотой заключенной в ней поэтической образности. Да, я слышу этот умолкнувший звук и сейчас, и всю жизнь. Потом, разумеется, у меня появилось несколько изданий «Илиады» в переводе Гнедича. И вот стоит на полке томик того самого издания, с которого я пытался переписать первую песнь «Илиады». Разумеется, другой экземпляр, купленный мной тоже в магазине букинистическом. Удивительное, радостное и волнующее до глубины души чувство.

Схожее чувство я испытал, когда в восьмом классе ещё, болея и лежа в кровати, за 2 дня прочитал впервые «Войну и мир». Да, да, за 2 дня. Я только и делал, что читал, кушал, засыпал, просыпался и опять читал. У меня не было другой жизни, кроме чтения. И чтение переживалось как настоящая моя жизнь. А это был настоящий, подлинный Толстой. Это не был перевод Минского. И я испытал такое же чувство, такой же удивительный восторг от

прикосновения к священному. Всё было прекрасно, каждая фраза «Войны и мира». Действительно, за 2 дня. Описать то чувство, которое меня охватило, то впечатление, которое переполнило меня, и я пытался высказать его какими-то словами моей маме. Слова не приходили ко мне, высказать это не удалось. Зато потом, когда я стал преподавать, и даже на самых первых моих уроках во время практики в университете, я что-то всё же сказал об этой книге себе самому. Это были уроки по «Войне и миру». Там один урок был о Кутузове и Наполеоне, а другие два – об Андрее Болконском. И в классе сидела тогда ученицей моя Беатриче. Я не знал еще, что она Беатриче. Но, наверно, всё-таки как-то знал, как-то предчувствовал. И «Война и мир» для меня вот соединилась с этим ожиданием, с этим предведением, с этим предчувствием счастья. Не сразу я понял и принял его. Оно пришло ко мне и вот слилось, соединилось с божественным текстом.

Толстой, уже написав «Войну и мир», стал изучать греческий язык. Прочитал в подлиннике, в образце «Илиаду». «Боком одним с образцом схож и его перевод» – всё-таки Пушкин, наверно, имел представление об этом образце. Видимо, как-то для него греческий текст раскрывался. Для Толстого он раскрылся так, что автор «Войны и мира» отверг свой собственный роман. И он в письме к Фету писал о том, что никогда больше такой многословной дребедени, ну приблизительно так он выразился, писать больше не будет. Так поразило его греческий текст. Впечатления о переводе Гнедича, по-моему, не осталось на бумаге у Толстого. Надо будет посмотреть, проверить.

Вот для меня эти два текста, эти две эпопеи – на равных. Благодаря Гнедичу и благодаря церковнославянской Библии, которая в детстве уже лежала у меня на столе. Ну, не совсем так. Лежал перевод, русский перевод, синодальный, что-то вроде перевода Минского «Илиады». А церковнославянский я уже позднее привёз домой из Бежецка, где мне его подарила одна женщина. Большой том Библии по-церковнославянски. Но я не удивился, когда стал читать. И сейчас этот том передо мною. И не только «Песнь песней», но и первые главы книги Бытия, и особая глава из третьей книги Ездры – так и просится, так и просит, чтобы её прочитали вслух. И я, когда остаюсь один, иногда читаю. И вот все эти разные, разведённые друг от друга мгновения моей жизни оказываются ипостасно объединены и сейчас дают мне силу жизни, силу преодоления. Сам я никогда не пытался

писать, воссоздавая этот умолкнувший звук божественной эллинской речи. Пушкин это делал. И в эпиграммах своих, прежде всего. У меня были попытки подражать Льву Толстому. Целый рассказ о том, как я заблудился в лесу. Но это был только один раз. Больше я не пытался. Я чувствовал, что моя речь другая.

И всё же, несмотря на то, что она была другой и я был совсем другой, ну уж, конечно, не Гомер, не Пушкин, не Гнедич, я чувствовал, что всё это для меня едино, едино именно ипостасной близостью. Любой из моментов ипостасности, если его вырвать из этой божественной правды ипостасного единства, превращается в абсурд, теряет жизненную силу, не помогает преодолеть отчаяние. Тождество, вырванное из ипостасности, – бессмыслица, тупик, быстро исчерпываемое существование, смерть. Индивидуализация, разделение, аналитическое разделение единства тем более разрушают эту всеобщую связь. Ну а взаимопереходность вообще невозможна вне ипостасности. А когда они объединяются в это нерасторжимое триединство, тогда это радость, тогда это опора, тогда это преодоление и тогда это любовь. Которая предчувствовалась, совершилась и уже не может уйти, живет вместе со мной, во мне. И раскрывает возможность того бытия, которое мне ещё остаётся. Мне жалко расставаться с моей этой ипостасью. Но то чувство, которое я так и не умею выразить, говорит мне о неисчерпаемости будущего бытия. И я готов и к смерти, и к вновь рождению.

21 декабря 2019

Полностью гнедичевскую «Илиаду» я прочитал, уже прочитав её в переводе Минского. Её, эту «Илиаду». Таким образом, Гнедич накладывался яркими, совсем не бывальыми для меня красками, на канву спокойного, лишённого красок другого перевода. И я помню это впечатление, это переживание. Очень трудно его передать словами. Это был роскошный мир, заполненный человеческими судьбами, человеческими телами. И всё это исчезало у меня на глазах в поединках Троянской войны. И я чувствовал героическое в каждом из персонажей «Илиады», потому что знал и узнавал каждую песнь. Героика не боялась Аида, в который неминуемо погрузились бы эта жизнь и смерть. Аид был неизбежен.

У Гомера нет никаких обещаний и никаких намеков даже на те мифы, которые немного усовершенствовали религию греков. Был миф об Ахилле, которого боги соединили с самой прекрасной женщиной в мире, с Еленой Прекрасной, на одном из островов Чёрного моря, подарив им бессмертие: самый прекрасный мужчина и самая прекрасная женщина должны были соединиться. Это поздние мифы. У Гомера отсутствует даже намек на утешение от них. Аид. Вместо живых людей, жизнь которых показана вполне, сполна и объявлена чем-то воистину священным. Может быть, самым священным. Благодаря языку. Благодаря этим церковнославянизмам, этим особым оборотам, придававшим поэме вечный смысл. Она, эта жизнь вполне была показана. Рассказывая о поединках между героями ахей и троянцами, Гомер подробнейшим образом рассказывает, как медь оружия, копий, мечей убивает человеческую плоть. Куда попадает брошенное копье, как оно пробивает слои щита, как пронзает панцирь, как пронизывает тело. Это каждый раз по-новому, каждый из персонажей умирает по-особому. И об этом писали. Но Гомер прекрасно видит осуществлённость бытия, телесную, человеческую осуществленность бытия, которую сами же люди уничтожают.

И не только это. Вся необъятность человеческих чувств, переживаний: и гнева, и обиды, и благородных чувств защитников родного города, и восхищение перед красотой Елены старцев, которые увидели её на стене Трои. И отцовское чувство, и сыновнее в этой последней, мы уже говорили о ней, песне, где старик Приам ночью приезжает к куще Ахилла. И он принимает его, и плачет с ним вместе, зная, что он сам скоро погибнет. И его это несказанное особое чувство ненависти к убитому им Гектору и невольного уважения к воле богов, и к страданию старца, Приама, у которого он убил столько сыновей на троянском поле. И удивительное прощание Андромахи с Гектором, и то, как младенец Астианакс испугался шлема Гектора. И тот снял его с головы и положил на землю, и только после этого взял младенца на руки и предсказал ему царствование в этой Трое, обреченной на разрушение. Которая всё же, как повествует миф, будет восстановлена, и Астианакс станет в ней царем. И это человеческое существо каждого бога Олимпийского. Они, боги у Гомера, не просто наделены человеческими свойствами. Они как будто бы знают о том, что они родственны человеку и обязаны людям этими свойствами. Вот всё это

неизмеримое совершенно богатство проявлений бытия, всё оно превратится в некую тень в Аиде. И покидая и силу, и крепость, тень убитого отделяется от тела и улетает опять в Аид. Гомер тоже не знает идеи ипостасности. Хотя, казалось бы, боги могут всё. Ну, кроме того, что закрыто для них велением судьбы. Ей они тоже покорны. Если они столь человечны, то когда-нибудь и их ожидает гибель, и ждёт их превращение в тени самих себя.

Гомер, слепой, влюблён в этот мир. Но он не осмеливается подняться до предположений о том, как навечно сохранить этот мир. И это придает его персонажам героический статус, героическое величие. Они знают всё о своей судьбе. Ахилл знает о том, что именно здесь, под Троей, он найдёт свою смерть. Он выбрал эту судьбу и отказался от бесславного и долгого существования, если бы он не поехал под Трою. Нет, он выбрал именно эту, славную и короткую жизнь, полную человеческого смысла, человеческих чувств, страданий и сознания своей обреченности. Не только Ахилл, каждый знает о том, что будет. Гектор знает о том, что Троя будет сожжена и даже возрождена в каком-то будущем, где его сын вернётся в этот город царём. И вот это человеческое знание мужественно тем, что ему ничего не обещано ни бессмертными богами, ни судьбой. Допущение о том, что боги когда-нибудь погибнут, это только допущение. Мифы говорят об их бессмертии и объясняют бессмертие даже тем, что они вкушают. И поэтому в жилах их течёт особая бессмертная кровь. Таким образом, рядом с человеческим миром у Гомера и над этим миром живёт мир тоже человеческих существ, но наделенных бессмертием. Тех же людей, но обладающих особыми, данными им судьбой, силами. Это соревнование бессмертного и смертного миров – одна из глубочайших, мучительных и прекрасных, до самозабвения прекрасных героических идей Гомера.

Я всё это говорю только потому сейчас, что я так или иначе думал об этом, когда читал именно перевод Гнедича, после перевода Минского. На его простые погашенные гекзаметы накладывалась мощь священного текста божественного перевода. И я не мог тогда не думать обо многом из того, что пытаюсь выразить словом сейчас. И тогда уже где-то, в предсознании, у меня шевелилась мысль и догадка об ипостасности бытия. Но Гомер мне представлялся знающим всё. Он таким и явился как творец «Илиады».

В 30 школе у меня был один мой ученик. Он из другой школы, но приходил на занятия литературного кружка, посвящённого античной литературе, поэзии. Почти полтора года длились занятия этого кружка, длились эти занятия, а потом он стал великолепным специалистом. И года два тому назад пришёл ко мне на день рождения, вместе со своей супругой, тоже моей ученицей, но уже ученицей 30 школы, и принёс одну из своих книг. А потом послал мне другую, уже целиком посвященную Гомеру. Там доказывается, что и «Илиада», и «Одиссея» созданы одним гением, и там остро повёрнут вопрос о слепоте Гомера. Там очень точным, выверенным прикосновением к тексту «Илиады» и «Одиссеи» доказывается, что вот, скажем, эту картину не мог создать слепец. Это надо было увидеть. Значит, Гомер когда-то не был слеп. Или, прибавил бы я, вообще не был слеп. Во всяком случае, сейчас, когда идея ипостасности превратилась в верование, предмет посильного моего, детского до сих пор исследования и какого-то художественного опыта, в попытку выразить словом и образом правду ипостасности бытия, сейчас, когда я осознаю это, Гомер становится мне близок еще потому, что он был слеп или, возможно, был слеп, или стал слепым, быв зрячим.

Иначе он не смог бы так воссоздать человеческий, земной человеческий мир, так противопоставить смерть человека и бессмертие Бога, так показать уход жизни из живого человеческого тела и так выразить скорбь этого ухода. Всё это роднит старца со мной. Я ведь тоже, как ни странно это было бы сказать, старец. Я не привык о себе думать так, говорить и так называть себя. Наоборот, у меня ощущение, что я до сих пор младенец, помладенчески наивен в чём-то. Во всяком случае, сохранил в себе чувства младенца. Я ничего, оказывается, не забываю из моей жизни. Каждое мгновение вдруг оживает, как память о тексте, который мне сейчас трудно прочитать, но, оказывается, я его помню. Сначала мне кажется, что я помню какое-то одно слово, но потом, всматриваясь в эту память, вживаясь в неё заново, я вспоминаю весь текст. Даже то, что, казалось бы, и раньше не помнил наизусть. Так вот я сейчас вживаюсь в мою ушедшую жизнь и чувствую себя прежним и не очень постаревшим. И это противоречия младенческого, детского, наивного, как сказал бы Шиллер, мироотношения и моих лет. И того, что зрение от меня уходит, и в этом отношении я обречён пережить то, что всю жизнь или какую-то часть жизни не мог не переживать

Гомер, воссоздававший зрячим воображением всю человеческую вселенную «Илиады» и «Одиссеи», вот, вот оказывается ровесником мне. И по-особому страшно близким для меня. Спасибо Панченко за его книгу о Гомере.

Но сейчас всё озарено для меня мифом или верой в ипостасное богатство бытия. А если вспомнить о том, что небытие – Аид гомеровский – и бытие – человеческое и олимпийское – для меня сейчас ипостасны, то «Илиаду» я мысленно перечитываю совершенно по-новому. И даже мог бы что-то сказать Гомеру, чем-то его обрадовать, что-то совсем новое ему сообщить из того, что осеняет меня сейчас. И вот, оказывается, что сама образность – это образность ипостасности, что весь мир в человеческом представлении – это мир ипостасей. И сам образ, каким бы реалистическим он ни был, это ипостась того, что он изображает. В нем что-то уже не так по отношению к тому, что было, есть или возможно. Богатство, не исчислимое совершенно, равное по мощи объективному миру, богатство этих ипостасных изменений в образном вновь рождении мира для того, кто творит свою «Илиаду», – вот это самое богатство приоткрывает тайные причины, тайные божественные технологии своего рождения. Вначале это отождествление образа с тем, что есть; потом резкое разграничение и взаимопереходное состояние, когда оказывается, что Гомер продолжает мне говорить нечто неисчерпаемо важное о человеческом бытии. А я в ответ ему говорю об ипостасности бытия и Аида. И тем самым утешаю его. Потому что сам я уже посильно и наивно утешен моей верой, моим опытом проверки этой веры. И моей посильной способностью соотнести, соотнести взаимопереходно бытие и образ. Но Гомер говорит и совсем другое. То, что не говорит никто. И я сейчас не имею силы в это вдуматься. Я только чувствую присутствие этой правды. И завтра, вот таким вот утром, как сейчас, правда эта явится мне. И кто знает, или возьмёт совсем или возвратит мне моё неполное, старческое, в чём-то гомеровское зрение.

22 декабря 2019

Почему именно Гомер, именно он своей гнедичевской «Илиадой» вызывает мысли о том, что образ – словесная ипостась того, что он изображает. Почему Гомер? Казалось бы, образ у всех живёт как ипостась изображённого. И у поэта, у любого поэта, прежде чем остановиться, застыть

в этой неподвижности, свойственной искусству изобразительному, вот прежде, чем остановиться в какой-то позе, в каком-то движении, в каком-то мгновении, образ или то, что должно изобразиться, живёт для поэта, движется. До тех пор, пока он его не остановит. Таким образом, остановив мгновение, мы уже говорили об этом: искусство это остановленное фаустовское мгновение. Но почему именно Гомер? Об этом я думаю сейчас, хотя в предсознании такая мысль готовилась. Речь ведь идет об особом свойстве Гомера, о том, что именно с его опытом связана та степень художественности, которая оказывается предельной, непревзойденной.

У каждого поэта в его опыте было своё гомеровское качество образа. И было тогда, когда, вроде бы, искусства ещё не было. «Здесь кончается искусство, и дышит почва и судьба», – сказано у Пастернака. Но бывает, что искусство еще и не начиналось, а почва и судьба уже дышит, безыскусственно дышит. У меня – это поэма «Фаэтон». При всех своих детских недостатках она несла в себе какое-то вот особое свойство, которое, я чувствовал, я уже не смогу повторить. Или вернее, смогу приблизиться к нему только с помощью искусства. А когда я писал эту поэму, вот за этим шахматным столиком, всё приходило само. Конечно, требовался труд. Нужно было найти рифму, нужно было что-то отклонить, чему-то обрадоваться в своих детских стихах. Но, в общем, всё давалась даром. И я это чувствовал. Но, разумеется, я всегда понимал, тем более сейчас, что тут речь идет об особом детстве. О детстве человечества, об этом уже тысячу раз писали, о нормальном детстве человечества, которое связано именно с гомеровской античностью, с его особым непревзойденным свойством образности. Ну, вот сейчас я мог бы к этой, тысячу раз сформулированной в споре древних и новых, а потом у Маркса в знаменитом фрагменте о неповторимости Гомера, подойти как-то иначе. Подойти так, как я раньше, может быть, не мог подойти. Для этого нужно было прожить всю свою жизнь или почти всю свою жизнь, потому что вот она, вроде бы, у финала, вроде бы, у этой особой ипостасной грани. А тем не менее она продолжается, живёт и даже больше – просит, требует от меня образного выражения, образного ипостасного бытия. Вот, как ни странно, опять этот термин, это понятие ипостасности оказывается, вроде бы, точным и плодотворным.

Гомеровская реальность, конечно, ипостасна по отношению к реальности, которая была вокруг тех и рядом с теми, кто творил «Илиаду».

Или рядом с одним божественным и великим старцем, который то ли видел, то ли не видел этот живой, движущийся, бесконечно многообразный мир героев. Или создавал этот мир, собирая его по крупицам. Для этого, и в самом деле, надо было видеть то, из чего он собирал свою реальность, выраженную в гекзаметрах. Конечно, она была ипостасна по отношению к живой реальности. Но у Гомера была некая, может быть, естественная, подсказанная его наивной художественностью, задача: всё рассказать о том, о чём он рассказывает. И рассказать таким образом, чтобы в этом рассказе соединилось и то, о чём идёт речь, и то, что связано с изображаемым, но необязательно в повествовании. В рассказе о той минуте, которую нужно показать, изобразить. Вот почему его герои на поле боя перед тем, как вступить в поединок, произносят речи. Причем, речи с какими-то отступлениями, с упоминанием того, что не связано с поединком. Кажется, что каждый из героев в своей речи пытается сказать всё, что он знает о мире или о своём роде, о своей судьбе. Но это только повод для того, чтобы сказать обо всём. И вот он произносит такую, полную подробностей, болтливую, как говорили в своё время в связи с Гомером (Гомер болтлив) речь, вот он произносит такую речь, а потом ему отвечает его противник, столь же болтливый и полный подробностей, не обязательных для этой минуты, речь, произносит своё ответное слово. А потом наступает черед для Гомера, и он подробно показывает, как происходил поединок, как один из них бросил пику, но она не пробил щита, и как другой вонзил эту пику, и как разрушился от проникновения смертельной меди космос человеческого тела. Та космическая красота человеческой нормы, которую утвердил Олимпиец Зевс, победив титаническое, чудовищное, и утвердив красоту и порядок. Красота и порядок, казалось бы, есть остановка реальности. Остановка – как нечто достигнутое реальностью и самими богами, которые пытаются привести мир и приводят мир к этой не заслуживающей уже никаких поправок красоте.

Таким образом достигается в реальности то, к чему стремится поэт. Рождается образ, который тоже не нуждается в поправках, настолько он совершенен, настолько он полно охватывает всю картину бытия. Хотя, конечно, словесный образ далеко не так полон. Скажем, скульптура изображает всё в человеческом теле героя. А словесная ипостась передаёт лишь некоторые подробности этого всего. И несмотря на эту особенность

собственно словесной ипостасности образа, он всё равно стремится к тому, чтобы быть полным, чтобы включить в себя не только то, что нужно для рассказа. Но и то, что сопутствует или могло бы сопутствовать рассказу. И то, что будет за его пределами. То, что за пределами должно войти в рассказ. И вот гекзаметры включают в себя эти и подробности, и эту полноту рассказа о бытии. Хотя речь идет о каком-то мгновении этого бытия. Такого свойства нет ни у кого. Никто не отваживался с такой же степенью подробности и, вместе с тем, с такой необычайной красотой неполноты этой, нацеленной на полноту, изобразительности, передавать мир, человеческую жизнь. Физическое, уравненное с духовным, проявление человека.

Вот, пожалуй, у Толстого в романе «Война и мир» это свойство есть. Оно ставило в тупик первых читателей романа. Тургеневу казалось, что Толстой пишет странный роман. Ещё критикам, современникам Толстого, Дружинину (можно привести другие примеры) казалось каким-то совершенно неправильным эта попытка Толстого, говоря об одном, сказать обо всём. И то, как она положила руку, у него может занимать десятки страниц. Или то, что по ляжке персонажа видно было, что он собирается в Индию. Но именно это Толстой почувствовал в своей первой, по-настоящему художественно гениальной дневниковой записи «история вчерашнего дня». Там это свойство обнажено. Но совершенно явно раскрыто. Толстой приоткрывает свою мастерскую или свою, даром ему данную сферу художественности. Там нужно было описать историю вчерашнего дня. Но, как мы помним, для того, чтобы это сделать, надо было рассказать о том, что было до этого. И он так и не добрался до полного рассказа об этом вчерашнем дне, настолько его захватили подробности. И каким-то чудом их перечень, их словесная изобразительная передача не то, что увлекала, а подчиняла себе читателя, равно как и его самого, автора.

Именно с такой степенью подробности он в художественных своих повестях, в «Детстве, отрочестве и юности», пытался рассказывать о том, о чём обычно не рассказывают, что опускают. А для него это было условием: передать всё то, что он хочет передать. И читатель, как будто бы понимая, что некоторые подробности в этой полноте изображения надо автору как бы простить, незаметно втягивался, входил в изображённый Толстым мир. Начиная в нём жить свободно, наравне с автором, и чувствовал, что он по-настоящему раздвигает границы своего ипостасного бытия и переключается,

как психологи сказали бы, децентрируется в мир другой ипостаси, а потом возвращается к себе, сделав ту, в которую он временно перешёл, своей.

Все писатели делают так или иначе строгий отбор деталей. Делает их и Гомер, делает их и Толстой. Но делает так, как если бы он их не делал. И это придает ту полноту, ту стереоскопию, ту человеческую правду, которая сама по себе несет в себе великую мысль о приоритете ипостасного бытия, о его богатстве. О том, что уходя из этого мира в некую другую, заново начинающуюся ипостась, надо как можно больше проникнуться подробностями этой, переживаемой тобою сейчас, правдой существования. Как можно к большему прикоснуться в ней, как можно больше обозначить словом. При том, что слово должно быть божественно кратким, отобранным, должно иметь свои границы. Но это границы безграничного причастия художника к тому, что он изображает. Да, Гомер и Толстой. Так, по крайней мере, было для меня, хотя я не пользовался своей нынешней терминологией. Потому что, видимо, представление о полноте ипостасного бытия было неполным. Становилось полным понемногу, год за годом. Когда я однажды, проходя по саду в Низовской, сказал себе: «но когда-то это должно иметь конец». И сейчас я браню себя за то, что я это сказал. Нельзя такое говорить. Потому что конец сразу же стал приближаться. Но в этом была правда. И когда я смог самому себе это сказать, что когда-нибудь должен прийти конец, только тогда вот это ощущение полноты ипостасного бытия вошло в меня. И сейчас, когда я им, вроде бы, обладаю, надо не утратить этой детской и одновременно старческой способности – по возможности охватить всё, собрав это всё в отобранном, по возможности, отобранном, образном проявлении. Вот только начало, только вступление в мир Гомера. Это лишь самые первые приметы его божественной безыскусственности и этой божественной правды его искусства.

Неважное ипостась важного. Если такого контраста нет, то нет и ипостаси. Ипостась ведь предполагает не только тождество, но и контрастное разграничение. И только тогда возможна переходность. Гомеру очень важно рассказать о Троянской войне. Нужно рассказать не только о победе над Троей ахейцев, нужно рассказать о самой войне. О том, что во многом она шла на равных между ахейцами и троянцами. Боги брали сторону и тех, и других. Аполлон был на стороне троянцев, Афина – ахейцев, Афродита – тоже троянцев, Гера – ахейцев. И Зевс взвешивал на весах судьбы, жребии

Ахилла и Гектора. Это была война, такая, о которой человечество не может забыть. И дело здесь не в победе одних над другими, а в том, что из себя представляло само событие, человеческие судьбы, характеры героев, характеры богов, которые не только сочувствовали героям, но и вступали в борьбу даже между собой. И даже делали так, что герои нападали на богов. Диомед ранит Арея. Это вот самое важное. Потому что война, как её показывает Гомер, это какое-то одно из самых существенных, страшных и прекрасных по-своему, проявлений мировой жизни. Война – проявление мира. И поэтому Гомеру невольно хочется, говоря о войне, говорить обо всём мире. В самый, казалось бы, острый момент поединка вспоминать обо всём другом, что оказывается ипостасным этому поединку. И вот почему, и Аристотель это заметил в «Поэтике», поэма Гомера посвящена гневу Ахилла, одному из эпизодов десятого года войны. Гнев Ахилла – лишь эпизод, в самом деле? Не он в конечном счете решил исход войны, но именно в нем проявилась страшная, всесветная, земная и олимпийская, и определенная судьбою сущность бытия.

И вот он подробнейшим образом рассказывает о том, с чего началась эта история гнева Ахилла, как она развивалась и чем завершилась. Не самый значительный, казалось бы, эпизод Троянской войны, по сути дела, всё определил. Он определил не только смерть друга Ахилла Патрокла, но и гибель Гектора, опоры, защитника, благородного героя Трои. Именно вот это сочетание, соотношение, ипостасное столкновение важного и, казалось бы, не самого существенного, взаимопереходность одного в другое, превращение тех черт, примет мира, которые в страшном повороте войны всё равно открываются слепому взору певца. Именно это делает ипостасным всё повествование, всю образную природу и совершенство поэмы. Вот почему не только главный сюжет, подробнейшим образом раскрывающий один лишь эпизодик войны, но и вся неизмеримая, неисчислимая, богатая, неисчерпаемая подробностями картина, созданная Гомером, – вся она становится ипостасной. Не будь этого главного, никакое нагромождение подробностей ничего не решит. Так же в романе Толстого «Война и мир». Там есть нечто существенно значимое для бытия. И поэтому нужны все подробности и все, казалось бы, неважные проявления. Они кажутся неважными. Но они неуклонно ведут в центр повествования, к тому громадному, неизмеримому, что составляет суть эпопеи Толстого и

выражено словом в названии «Война и мир». Поэтому ни в коем случае не надо пытаться рассказывать всё о том, что не ведет к такой глубине и к такому масштабу изображения. Если просто рассказывать историю вчерашнего дня, как попытался Толстой, то рассказа не кончишь. Потому что вдруг, в какой-то момент чувствуешь, гениальный прием открыт и доступен, и обнаруживает и наблюдательность, и психологизм, и удивительную точность и новизну изображения. А ради чего? Вот это «ради чего», видимо, очень смутно мерцало в сознании Толстого. Когда он, сделав открытие приема, почувствовал, что он может, и что он совершит нечто. И тогда этот приём ипостасного изображения окажется точным, плодотворным, удивительно просто раскрывающим дар, который даже не требует слова «искусство». Но как бы подарен автору. Да, этот принцип ипостасности в образном осуществлении настоящего художественного текста ещё по-настоящему не применен.

Вернее, он применён, но не осознан. Теоретически он еще не осмыслен и не изучен, как говорят. А практически только на этом всё и стоит. Я вот попытался, будучи ещё в десятом классе школы, написать рассказ о том, как я заблудился в лесу. Ну, рассказ, вроде бы, получился, хотя он и подражательный. Это было поражение Толстому. Это было использование его приема. И я почувствовал, что я близок к тому, чтобы что-то сказать. Но это что-то так и не было понято мною тогда. Не было осознано. Сейчас я, оглядываясь на свою жизнь, перебирая не только в памяти, но и в каком-то образном воспоминании отдельные моменты жизни, то, о чём хотелось бы написать, готов был бы увидеть в этом рассказе это главное. То, что, может быть, даже отчасти и было выражено. Потому что там был показан мальчик не совсем стандартный, обычный. А уже возникающий из чего-то очень конкретного, богатого деталями, из этих фобий и страхов. Из смелости и страха своих собственных поступков. Вообще, из какого-то богатства впечатлений и переживаний. В нём что-то, наверное, было новое. Но не было тогда осознано.

Сейчас, осознав это, я бы переписал весь рассказ заново. Потому что все детали, подробности, а их чрезвычайно много, сюжет тонет в них, они не соотносены с этим осознанно понятым главным. И поэтому, в сущности, я подражал приёму. А то, что я хотел сказать, не могло родиться из подражания. Здесь нужно почувствовать возможность сказать что-то

необычайно важное. И не пробуя тот или иной прием, ипостасно соотнести с этим важным всё богатство жизненных проявлений. И тогда получится что-то своё. То, что у меня, может быть, получилось в повестях, посвящённых Мише. Там не выдумка и не фантастика, как я сам называл это для себя. Это проникновение в ипостасные миры; это соотношение бытия и небытия; это то, о чём всё-таки я попытался что-то сказать. Потому что это было созвучно моей боли, тому чувству, тому состоянию, которые невозможно было ни пережить, ни отодвинуть. То, что с годами, оказывается, уже прошло 20 лет, с годами становится всё больнее. Вот оно и вызвало подробности, метафоры, ту фантастику соотношения миров. Возможность его появления оттуда. И уход туда. И его непрерывное присутствие рядом. И я достаточно подробно, не боясь сказать всё, что связано с этим, всё, что противоречит этому, всё, что это страшно подтверждает, – попытался сказать. Кто-то об этом скажет лучше, скажет иначе. Но мне думается, я всё-таки своё осознал, понял и явил в слове. И там то, вот то, что можно было бы назвать, в самом деле, ипостасным реализмом, сказалось поневоле. Потому что только такое самораскрытие, только такая молитва, обращённая к себе самому, к сыну, к тому, что будет через секунду, когда он появится, или когда он уйдёт на какое-то время. Всё это так или не совсем так, но выражено и сказано словом, по возможности точно собирающим вокруг этого чувства, – да, весь мир, всё бытие, весь по-моему понятый смысл этого соотношения небытия и бытия.

Нужное и не нужное для повествования, оказавшись в ипостасной связи, обнаруживают свою глубинную ипостасность. Но здесь требуется особая способность поэта, писателя. Потому что каждый раз такое обнаружение ипостасности – открытие. Это совершенно новый взгляд на мир, это какое-то своё слово о нём, это требует большого труда человеческого сознания, мироотношения. Труд в этом определении – для себя, своего отношения к миру, открытие в себе этой способности увидеть скрытую связь явлений, моментов, ничтожно малого и необозримых, невмещаемо громадного. Это самое главное в искусстве.

Гете обладал такой способностью, но не всегда ее применял. В знаменитом стихотворении ...(нем.) – этот его принцип художника сказался очень определённо. «Над всеми вершинами покой. В маленьких верхушечках, у всех маленьких верхушечек травинок, кустов чувствуешь ты

едва ли какое-то дыхание. Птички молчат в лесу. Подожди ещё, скоро успокоишься ты тоже». Здесь для него, пантеиста, не знавшего этой природной ипостасной взаимосвязи всего со всем, появилась на самом деле эта связь – в восьмистишии, которое я только что прочитал. И поэтому рядом стоит громадное – над всеми вершинами, не просто над вершиной горы, над всеми вершинами покой. И малыми – над всеми верхушечками. Птички молчат в лесу. И ты, ты с твоим миром; ты, громадная, хотя и бескрылая птица, успокоишься тоже. Там, где у Лермонтова в стихотворении «Горные вершины спят во тьме ночной» нисходящая градация: от вершин к долинам; от долин к дороге, которая пролегает, возможно, в этой долине; и к листикам, упавшим с деревьев или ещё остающихся на ветвях. Вот такая стройная градация, которая говорит о противопоставлении, но не об ипостасности. О противопоставлении мира пишущего или творящего лирического героя этого стихотворения и этого громадного внешнего мира. Всё одно другому противостоит, и всё опрокидывается в этот внутренний мир поэта. А у Гете иначе. У Гете на равных: высокое и малое, большое и еле слышимое. Или вообще даже неслышное дыхание в верхушечках травинки, возможно, кустов. Этих слов в оригинале нет. Но верхушечки противостоят и соседствуют рядом с вершинами. Уловить это необычайно близкое и различное в их связи, в их равноправии, в их ипостасной близости – это значит: в малом открыть великое. А великое воплотить в самом малом. Это во многом и для многих недостижимый принцип художественности. Вовсе не хочу сказать, что я владею этим искусством. Но всё же я пытаюсь уловить предельно несовместные, предельно разделённые друг от друга миры: небытие и бытие. И тогда получается, что в самом небытии есть силы бытия, возвращающие мне сына. Но и небытие пронизывает малейшие мгновения бытия и уводит его вновь от меня. Я не знаю, смогу ли я ещё вернуться к этому необъятному для меня проникновению в эти два мира одновременно. Но я не могу сказать себе, что я уже всё выразил в слове. Наоборот, я еще почти ничего не сказал. И мне ещё дано какое-то время из бытия или не из бытия для того, чтобы я нашёл новые и новые слова. Может быть, вот эта ненаписанная повесть, которая всё-таки пишется, есть подступ к тому, чтобы сделать то, что я ещё не сумел сделать. Но и эту повесть хочется замкнуть, хочется связать и понять, что есть в ней – во всей этой моей жизни отразившись, отражённой разговором с самим собою. Что в ней есть такое,

что выводит меня за пределы моей ипостаси. И при всей боли расставания обещает мне новый мир. Вновь рождённый мир нового бытия. И до того, как это совершится, уже сейчас возвращает меня в этот покидаемый мною мир, который я бесконечно люблю и с которым не хочу расставаться.

23 декабря 2019

У Гомера тень уходит из тела, покидая и силу, и крепость. Силу и крепость. То, в чём воплощалась героическая Илиада. Казалось бы, это всё, что ждало в Аиде явившуюся туда из человеческого бытия тень. У Данте Страшный суд. А здесь? Неужели всё-таки человеческая мысль, образность поэзии не осознавала этот абсурд, эту неразрешимость и мирилась с той безысходностью, какую открывала ими же, людьми, созданная мифология? Получалось так, что был хаос. Из хаоса, спустя множество мифических веков, в итоге был создан Олимпийский космос. И он оставлял в себе, после себя тень себя самого. Тень героя, которую, уйдя из тела, покидала и сила, и крепость. Да, здесь какая-то тайна уже человеческого сознания. Ну, надо всем, разумеется, была судьба. Судьба – то непознанное и то непознаваемое, что оставалось в мире античности. Может быть, здесь есть какая-то разгадка той детской мудрости, детского бесстрашия, с которым грек и Гомер встречали этот абсурд и подчинялись ему. Благодаря слепой судьбе, ибо она сама не знает себя, сама свободна от привязанности, от любви к одним героям, недоброго отношения к другим. Она судит, и судит, будучи слепой, как Гомер. Но Гомер всё видит. Вероятно, всё же не всегда он был слепым. А если всегда, то это ещё большее чудо – так видеть мир, так любить его зримые формы. И вот судьба, которая не видит ничего.

Впрочем, это один из вариантов мифов, являющийся, когда нужно объяснить необъяснимое. Есть и другие варианты. Мойры, судьбы, кстати, явившиеся в античной мифологии как дочери Зевса. А это нечто совсем другое. Но судьбы остаются судьбами. Слепы они или видят осязаемую красоту людей и богов, они остаются тайной для тех и других. В них разгадка, потому что в них все загадки бытия, и в ней главная тайна исхода. Тайна ипостасного разрешения этого, казалось бы, абсурда. Космический мир столь прекрасен, что его расставание с самим собою, когда он покидает и силу, и

крепость, когда он расстается с плотью и присущей этой плоти красотой, вот этот особый мир должен иметь некое разрешение.

Надо всмотреться в свою собственную жизнь. В то детство, когда мне впервые открылся Гомер и его «Илиада». Сначала в переводе Минского, а потом в полном составе, в переводе Гнедича. В том детстве было же у меня какое-то разрешение. И было осознание абсурдности бытия, обреченного на смерть. Я ведь помнил о гибели моего брата. Я видел смерть здесь, в блокадном Ленинграде. Я прекрасно знал и, применительно к себе самому, я предчувствовал то, что переживаю сейчас. Всё это было в детстве. И недаром тогда я, недаром попытался по-своему переложить монолог Гамлета. Там я по-своему выразил эту его гениальную формулу: «и мы скорее миримся с горем тяжким, чем с тем, чего не знаем мы за гробом». Гомер знал, что будет за гробом, и не знал, какова судьба бытия. В этом неизмеримом, неисчислимом богатстве мифологических сюжетов, мифических судеб людей и богов есть рассказ о тех, кто пал в борьбе. Рассказ о титанах. Вот, погибнув, потерпев поражение в борьбе с олимпийцами, они продолжали жить по-своему, подавленные громадой Земли.

Вообще кажется, что, какие бы детские представления ни были у старца Гомера об исходе бытия, он видел и по-детски признавал только бытие. Во всем, на что бы он ни бросил свой старческий, видящий или не видящий, взгляд, он видел только бытие. И христианский мир, который открылся мне по-настоящему, когда мама в детстве еще, моем детстве, рассказала мне Евангелие, а потом я пережил погружение в «Божественную комедию» и там внимательно разглядел тот мир, куда уходит душа, покидая и силу, и крепость. Тогда я понял, какой шаг взросления, какой путь взросления прошло человечество, перейдя от Гомера к Данте. Перейдя от того детского язычества к христианскому космосу, в котором, казалось бы, не осталось места хаосу. Хотя в Библии, по сути, говорится о том, что Бог создал и то, и другое. Сначала он сотворил небо и землю. Но Земля была хаотична, она была пуста. Дух носился над бездною. Дух Божий носился над бездною. Но получалось так, что хаос тоже был сотворён Богом как некий материал для творения божественного космоса, предвещавшего и предчувствовавшего появление и явление в мире Христа.

Вот в тексте, высоком герметическом тексте Гермеса Трисмегиста говорится, разумеется, под влиянием уже античной философии, о том, что

всё существующее, в том числе, и хаотическое, и космическое проявление этого всего, всё это есть Бог. Там говорится, в эпоху многобожия, о единобожии. О единобожии. О том, что все вещи, материальные и сущностные, как сказано у Гермеса, всё это есть Бог внутри себя самого. И перекличка с Толстым здесь поразительна. Ибо, как мы помним, последнее, что им было продиктовано перед смертью: «Бог есть неограниченное всё. Человек – ограниченное проявление Бога». Но вот у меня все свелось к соотношению небытия и бытия. Для Толстого война и мир оставались самой главной сюжетной основой его реализма. Даже когда он создавал своё учение, основывая его на Нагорной проповеди Христа, всё равно, если мы вспомним изложенную Толстым гениально притчу «Чем люди живы». Там речь шла о жизни и смерти. О том, что подлинная жизнь это сознание жизни. Но верное сознание жизни. И война и мир – два состояния. Одно из которых пронизано этим подлинным сознанием жизни, а другое – безумие отказа от этого сознания. В притче «Чем люди живы» сапожник чувствует смерть, когда человек теряет это истинное, верное сознание жизни. Ангел Гаврила, которого он привел к себе домой, держится за горло, как будто что-то его душит, когда он видит, какой лишенной жизни недобротой вначале оборачивается к нему жена сапожника. «Нет у меня про вас еды», – говорит она. А потом, посмотрев на приведённого сапожником человека, она возвращается к подлинному сознанию жизни, ставят на стол еду. И он тогда, этот ангел, введенный в дом сапожника, улыбается первый раз.

Два состояния. Война людей друг с другом, которая ведёт к безумию погружения в смерть. Не физическую только, но и душевную. Так Толстой прояснит для себя свой же роман «Война и мир» в те годы, когда он будет создавать своё учение. И сознание мира – как сознание жизни. Подлинное сознание жизни. Так вот для меня то же самое, казалось бы, небытие и бытие. В каком-то другом варианте. Мне понадобилась идея ипостасности, соотношения бытия и небытия. Чтобы чисто религиозно объяснить рождение и вновь рождение бытийных проявлений из небытия, которое ипостасно бытию и потому в самом себе рождает своё отрицание. Применяет принцип небытия к самому себе и становится бытием. Но мне понадобилось именно это, отсутствующее и в мифологии язычества, и у Гермеса Трисмегиста, и в христианскую эпоху, и, как мы говорили, даже у индусов, которые вплотную подошли в своем учении об инкарнациях и о переселении душ к идее

ипостасности. И мы уже говорили о том, что всё-таки это идея, в полной мере проявленная в христианской Троице, не была известна древнеиндусскому миру. Миру «Махабхараты» и «Рамаяны», «Вед» и «Упанишад». Мне она понадобилась, эта идея, и я предчувствовал её. И сейчас с таким трудом, с такой болью, с таким напряжением я погружаюсь в её глубины. И когда мне хоть немножко удаётся прикоснуться к тому, что скрыто там и неуловимо для меня, я испытываю радость в минуты, казалось бы, полного отчаяния. «И даже умирая от отчаяния, любому эпохальному кресту, сквозь дактилические окончания особые пути изобрету». Сквозь дактилические окончания стихотворных строк. Я пользовался ими очень редко. Но сейчас почему-то именно эта необжитая сфера ритмики и звучания для меня есть та самая сила и крепость, которую я не хочу покинуть, пока не скажу себе то, что ещё не успел сказать. И то, что мне даёт опору в такие отчаянные минуты и часы, разрешает для меня то, что, казалось бы, то, что мне казалось неразрешимым во всём опыте, который был до меня. Разумеется, это только мне казалось. То, что спасает меня, – предчувствовано всем опытом. И, может быть, мне только выпало на долю найти какое-то своё слово, к своему, да, эпохальному кресту. Через мои дактилические окончания проложить какой-то особый путь в последние годы, дни, часы.

Как хорошо осознавать, что я совсем не один в том мире, который я собирал всю мою жизнь, который теснится мне в душу неисчислимыми голосами. Среди которых есть и голос старца Гомера, который давал мне радость жизни в детстве и который спасает меня и сейчас. Ибо его вера в то, что существует только бытие, даже когда оно тень самого себя, для меня это вера, которая проясняется идеей ипостасности. Пусть она так не называлась. Но это, действительно, ведь так, если небытие и бытие ипостасны. Если небытие, ипостасное бытию в самом себе, его рождает, то, разумеется, бытие одно только и существует. Это очень не просто и радостно понять. В моём мире нет никакой благостности. Он открывает мне свои бездны со всей прямоотой и безжалостностью. Но всматриваясь в них, переставая бояться их, я там вижу опору. Ту самую опору, которая держала античный мир Гомера. А он, этот мир, всё равно, каким бы ни был наш последующий за Гомером опыт, возвращает к себе. И я чувствую, что я свою ненаписанную повесть, если когда-нибудь и напишу, то только потому, что буду чувствовать рядом с

собой Великого Старца. Он мне подскажет, как нужно в небытии видеть только одно бытие.

Надо проверить. Но кажется, я не ошибаюсь. Идея ипостасности не была в полной мере явлена и осознана, потому что недоставало самого важного в ней, вот этого свойства, этой способности взаимопереходности. Тождество и индивидуализация. Насчёт тождества было достаточно догадок, разграничение – ну, в этом человеческий опыт преуспел. А вот взаимопереходность... Когда Зевс, побеждая хаос и восстанавливая космос, разграничил все сферы действия и могущества богов, каждый из богов получил свою сферу действий, свою сферу бытия, которая от него зависела. Он этот победивший космос разграничил и связал идеей космизма, красоты, гармонии, порядка. Но кажется, ни в одном из античных мифов нет догадки о взаимопереходности между этими разграниченными божественными началами. Аполлон остаётся Аполлоном, хотя он и изменяется, и переживает самые разные состояния. Гера остаётся Герой. Артемида Артемидой. Так же и герои, дети богов и людей. Да, Геракл получает бессмертие в итоге. Но при этом он остаётся собою. Разграничены и не переходят взаимно друг в друга Аид, Земля, Олимп. Хотя, казалось бы, боги так сближаются с людьми, так сливают свои чувства и страсти с их судьбами, что, вроде бы, тут как раз сниться, предвидится идея взаимопереходности.

И все равно эти границы остаются незыблемы. А ведь взаимопереходность судьбы или богов, судьбы и людей, того начала, которое воплощено в космосе отдельного героя, отдельного человека. Вот эта вот его воля, его сознание. И его судьба, которая над ним. Они никогда взаимно не переходят. Судьба владеет сюжетом человеческой жизни, определяет его. Но человек не становится судьбой. И судьба не очеловечивает себя и не становится персонажем мифа. И всё очень близко, всё, повторяюсь, почти вплотную к осознанию идеи ипостасности во всей её полноте, включая взаимопереходность как то, что, собственно, и делает ипостась ипостасью. Но точно так же нет взаимопереходности и в индуистской философии, в индуистской версии. Тримурти, казалось бы, три ипостаси. Но это не одно божество, а три божества, чудовищно и страшно, и чудесно слитые друг с другом. Творец мира, тот, кто хранит мир, и тот, кто его разрушает. Индусы смешивают, мы уже говорили об этом, иногда Вишну и Шиву, получается слияние. Кришна в «Махабхарате» несёт в себе силы

разрушителя и охранителя бытия. Но слияние это не взаимопереходность. И вот это идея возможности Шивы быть Вишну, а потом вернуться к себе самому и познать ту же способность у Шивы. И у этих двух божеств – с Брахмой творцом. Вот-вот почти на секунду, на какой-то миллиметр почти сливается с идеей ипостасности. И всё-таки она не проясняется до конца. Идеи ипостасности нет и в буддийском переселении душ. У Арья Шуры в «Гирлянде джатак» Будда превращается в множество существ, человеческих, животных. Но это именно он, и только он. Нет взаимопереходности его и других существ. Есть его перевоплощение, его реинкарнация, его вновь рождение, но не рождение его – другого.

Конечно, со всей определенностью эта идея воплощена в христианской Троице. Вот я осмелился это распространить на всё бытие, почувствовав радость и страшную глубину взаимопереходности Бога и человека; человека и другого человека; человека и животного; человека и растения. И вот мне думается, что эта способность взаимопереходного движения, взаимопереходного вновь рождения и делает собственно идею ипостасности особой идеей, которая наследуют всё-всё лучшее, что когда-то было создано воображением или получено как откровение. Ну, для тех, кто верит в откровение, мои размышления – догадка, сыновняя попытка познать скрытую от нас тайну. И очень важно для меня не терять это чувство ипостасности во всём её или его богатстве. И тогда вдруг окажется, что бытие человеческое, которому посвящена Библия, от первой книги Бытия до последней, Апокалипсис (я имею в виду христианскую Библию), всё это бытие имеет свою ипостась. И когда оно придёт к концу, о чём повествует Апокалипсис, там явится Новый Иерусалим. Но там всё же не сказано вполне, что этот Новый Иерусалим будет ипостасью того другого, с этой способностью к взаимопереходу.

Но когда схлопнется Солнце, когда кончатся все миры, и когда чёрная дыра поглотит всё сущее, на этом, как учит идея ипостасности, не завершается существование. Существование в новом проявлении возникнет, потому что само отсутствие существования ипостасно ему. И в чёрных безграничных недрах его готовится вновь рождение, потому что оно само есть ипостась бытия. Не форма бытия, а именно ипостась, с этой способностью небытия стать бытием, даже если придется вернуться к себе самому. Почему вот в такой ясности, такой, казалось бы, страшной и

одновременно радующей душу правде эта версия нигде не была сформулирована, нигде не было угадана? Или я ошибаюсь? Я не знаю сейчас, прав я или нет, надо проверить, надо вдуматься, надо очень всерьёз обрадоваться этой правде, этой версии. Ибо она, казалось бы, разрешает все самые страшные проблемы философии, религии, одновременно не устраняя их, разверзая их бездну и предлагая отдаться тому, что великий Гете сформулировал в двух строчках. Вот одна из них, нет, две: «Все к небытию стремится, чтоб бытию присущим быть». Там указана внутренняя механика чуда. Но даже и в этих строках ещё нет идеи взаимопереходности. А именно она придает жизнь и спасительную, радующую душу, правду идее, которую я приемлю и которой я обозначаю смысл моего верования, моей сыновней веры.

24 декабря 2019

Античность – эпоха нормального детства человечества, как писали об этом, не имела выработанного понятия об индивидуальности и личности. Понятно, что речь идёт не о том, что индивидуальности и личности не было. Но человек зависел от судьбы, и судьба определяла основные сюжеты жизни человека. И в этом отношении он не был один на один со своим будущим, прошлым. И не был волен поступать так или иначе. Он поступал и так, и иначе, но судьба всё равно поправляла его и приводила к тому, что решила она. Именно в этом отношении не было ни индивидуальности, ни личности. Разумеется, не было и понятия ипостасности. Это понятие до сих пор отсутствует, его надо обосновывать, его нужно осмыслять. Вот мы ведем разговор об ипостасности уже сколько недель и месяцев.

А тем не менее, ипостасность была уже тогда. Взаимопереходность ведь тоже надо понимать точно. Взаимопереходность это не просто переход одного человека в другого, при том, что он перешёл в этого человека тоже. Речь идёт о степени проникновения душевного, духовного, психологического одного в ипостась другого. Причем, такое проникновение не остаётся окончательной степенью ипостасности. Человек возвращается к себе самому, побыв в другом. Ипостась остаётся верной себе. А когда смерть обозначает предел, грань ипостаси, вот тут происходит переход, и вовсе не взаимный. Хотя, кто знает. Оттуда тоже возможно влияние, переходы,

возникновение и уход назад. Во всяком случае, и индивидуальность, и личность объективно – это всё предметы изображения. Это то, что объективно есть в литературе, в поэзии, в искусстве – всегда. Даже, когда, казалось бы, изображается нечто общее, обобщенное. Копьеносец, дискобол в скульптуре античности, казалось бы, созданы с помощью преодоления всего индивидуального и личностного. Хотя эти понятия, повторим, не были осознаны в античности. Ни Поликлет, ни Мирон не знали этих понятий, но создавали образы своих героев, эту мужскую норму, этот канон путем наблюдения над очень многими, близкими к совершенству или вполне совершенными примерами и образцами в живой жизни. Так у меня возникла тоже строфа: «Прообразов не видя, /Я улыбаюсь вслед /Всему, что видел Фидий, /Мирон и Поликлет». И сейчас есть примеры и образцы, близкие канону, идеалу. И сейчас эту красоту можно наблюдать и воссоздавать. И, казалось бы, она есть преодоление индивидуального и личностного.

На самом деле, это не так. Сколько было сделано копий с копьеносца Поликлета. И, казалось бы, они в точности повторяли образец, не дошедший до нас. И то, как эти повторения совпадают друг с другом, вроде бы, подтверждение тому. На самом деле, каждая копия индивидуальна и по своему личностна, и даже ипостасна, совершенно неосознанно. Зритель, который видел Дорифора, невольно совершал психологический переход в этот образ. Какое-то время, может быть, какие-то мгновения был им, этим образцом, и потом возвращался к себе самому. Он не становился ипостасью Дорифора. Но ипостасность его видения, его восприятия, его наслаждения красотой канона, конечно, неосознанно, но была. В каждом, кто смотрел, кто видел этот шедевр. Но каждый копиист, любой копиист, невольно вносил нечто своё. Мы не знаем, каким был тот Аполлон Леохара, который сейчас вот, в мировом искусстве представлен копией, названной Аполлон Бельведерский. Вот у меня на бюро стоит бюст Аполлона, не Бельведерского. Там немножечко другой завиток локона, чем у Бельведерского Аполлона. Это какая-то римская копия, редкий гипсовый отливоч с неё. И кто знает, может быть, он был ближе греческому образцу, к леохаровскому подлиннику, чем Бельведерский Аполлон. Но уже то, что какие-то изменения были внесены, причём осознанно; копиист не старался воспроизвести абсолютно без всяких изменений образец. Он допустил эти изменения. Он в чём-то, чуть-чуть, незаметно, но варьировал образ. Во всём этом, разумеется,

сказывается и индивидуализация. А так как Бельведерский Аполлон или Аполлон Леохара в той или иной копии соотнесен с человеческим обликом, с обликом прекрасного юноши, это обретает и некий ипостасный смысл.

Но по-настоящему идея ипостасности, как и идея личности, идея индивидуальности, может быть, и была открыта позднее, в эпоху Ренессанса. А ипостасность ещё и до сих пор лишь осознается. И я в этом разговоре с самим собою не могу сказать, что абсолютно уверен, что достиг своей цели. Это разговор с самим собою. Но мне думается, что время, эпоха, эра ипостасности всё-таки грядёт. Детство в филогенезе, как и бонтон в генезе, это осознанная и неосознанная, чаще неосознанная борьба тождества, которое являет родившийся человек, ещё ребёнок, и индивидуальности, добываемой в опыте общения с другими такими же детьми, поступках, сюжетах детской жизни. Эпоха юности это тоже некая борьба, иногда поединок, иногда даже трагический поединок, невыносимо острый – индивидуальности и личности. Индивидуальность стремится стать личностью. Иногда желания эти оказываются несоизмеримыми с возможностями. Индивидуальные возможности это одно, личностные запросы и амбиции другое. И противоречия между тем и другим объясняет мучительное состояние перехода от детства к зрелости на путях юности. Человечество в этом универсальном филогенезе до сих пор переживает эру юности, когда идеал противоречит действительности, когда ощущение возможностей человеческих приходит в противоречие с тем отрицательным опытом, который собирает Мефистофель, гений отрицательного опыта. И крайность, перекося в ту или иную сторону тоже по-своему объясняет сюжеты истории. Историю любого из народов, этносов. А этнос, как нам приходилось в свое время устанавливать, может объединять несколько национальных множеств в некую особую группу, со своими традициями, со своими предпочтениями. Но это другой вопрос.

Мы и сейчас живем на трагическом рубеже юности человечества. Но возможна, если есть детство и юность, эра зрелости. И вот эра зрелости, это напряжённое, до предела многообразное в сюжетике, истории и отдельных народов, и их взаимоотношений, – эра ипостасности, когда личностное и ипостасное приходят в напряженнейшие состояния поединка друг с другом, а иногда и мирного, гармоничного, плавного взаимоперехода. И это, как эра истории человечества, ещё предстоит. В то время, как в каждой отдельной

судьбе индивидуума, личности и постасность возможна. Она опережает эру предчувствием её, и она составляет некую особую содержательность бытия на том или ином историческом этапе. И примеров множество. Но вот любопытна в этом отношении возможность соотношения таких явлений, как Гомер, Лев Толстой. Попытки таких соотношений уже делались в книгах о Толстом. Но здесь ещё очень многое можно уточнить, разглядеть, если смотреть сфокусированно.

В «Войне и мире» дана такая великая формула: Платон Каратаев, князь Андрей Болконский, Пьер Безухов. Причем, совершенно ясно, что Каратаев, как он обрисован Толстым, лишён личностного и индивидуального самоосознания. Этого нет. Платон Каратаев не нуждается в том, чтобы осознавать себя индивидуальностью или личностью. Он вот то самое тождество, которое, по Толстому, определяет исторические события, является той равнодействующей, которая складывается из однонаправленных волей всех участников событий, если речь идёт о силе мира, даже во время войны. Даже в форме войны. Бородинское сражение это поединок почти равносильных антагонистов мира и равнодействующей войны. Вот эти сугубо индивидуальные воли образуют некие параллелограммы, по которым складывается сумма сил. Один хочет одного, другой другого, третий третьего. В итоге получается то, чего никто не хотел, возможно, но что уже определяет иногда бессмысленную, абсурдную, античеловечную равнодействующую войны. Это война. А как правильно писали о Толстом, мир лишён этих разнонаправленных волей. Они направлены как бы в одном смысле, в одном осуществлении. Их не нужно складывать путём равнодействующей между их расхождением друг с другом. Они однонаправлены, поэтому они обладают, по Толстому, особой силой, большей, чем сила войны. Хотя бывают такие повороты в истории, когда сила войны и сила мира кажутся равносильными. Таково Бородинское сражение. Но это лишь кажется, что они равносильны. На самом деле, победил мир. Ну, об этом приходилось уже говорить. Во всяком случае, Каратаев живёт в каждом участнике событий – со стороны защитников родины, защитников своей земли. В этом смысле Тихон Щербатый тоже несет в себе Платона Каратаева. Но и ещё что-то. Он несет в себе индивидуальность, которой Каратаев лишён. Но он несет в себе и Каратаева

и, по Толстому, это определяет эпическую мощь и красоту этого эпизодического, казалось бы, персонажа.

Князь Андрей Болконский – индивидуальность, личность. Он убеждён, что всё зависит от его воли, от его поступка. Над ним нет силы, которая распоряжается его судьбой, над ним нет судьбы, он сам определяет свою судьбу. И вопрос о том, что есть для него подлинная или ложная жизнь, связан с его решением, с его сознанием. Но, по Толстому, и он приходит к Каратаеву, не зная об этом. Уже не в жизни, а в смерти. В той самой христианской любви, которую он испытал, будучи смертельно раненым. Другое дело Пьер Безухов. И вот в Пьере Толстой гениально почувствовал ипостасность, которая находится тоже в борьбе, в поединке иногда с личностным началом, у Пьера Безухова недостаточно, по сравнению с князем Андреем Болконским, развитого. Конечно, это ярчайшая индивидуальность. Но не всегда ему хватает силы личности, которая присуща князю Андрею. Но ему, как и князю Андрею, присуще острое чувство недовольства этим проявлением, иногда ложным, ошибочным, проявлением личностного начала. И вот тогда он вспоминает в себе не только индивидуальное, но и то общее, то, что можно обозначить условно термином «тождество», совсем живым. И вот смерть князя Андрея есть переход от личностного к этому тождественному. Однако, мы же помним, как произошёл этот перелом. Он видел врага своего Анатоля Курагина, когда ему отнимали ногу и когда он был уже не его личным врагом, а таким же солдатом, как и другие пострадавшие, физически изувеченные или убитые на бородинском поле. И он не почувствовал к нему вражды. Он почувствовал к нему то, что можно назвать христианской любовью. И это момент ипостасности. Он всегда готов был проявить себя, сказать о себе в духовном, психологическом опыте князя Андрея.

Но у Пьера он выражен в особой, он был выражен всегда в особой форме. Тот всегда чувствовал других больше, чем себя самого. У князя Андрея наоборот. Наибольшей степенью ипостасности обладает автор «Войны и мира». Как Гомер, который всё знает о мире и пытается это передать, что выражено даже в его болтливости, о которой мы уже говорили. Так рассказчик, автор «Войны и мира», всё не только знает, но всё чувствует, всё сопереживает. И сопереживает каким-то особым способом перехода в своего персонажа, а потом возврата к себе. Здесь почти осознаётся в самом

методе Толстого идея ипостасности. Но он не находит этот термин, не пользуется им. И в какой-то мере это его божественное, соотносимое с гомеровским, искусство остается неосознанным. Не осознано до сих пор и теми, кто пишет о Толстом. Но все чувствуют то особое свойство Толстого, которое присуще ему больше, чем кому бы то ни было из писателей мира.

Схожий экскурс и какой-то анализ, что ли, ну, попытка разобраться может быть применён к Достоевскому. Но это особый разговор. Однако, у него это совершенно по-другому. И там вот это христианское ощущение ближнего своего передано с необычайной гениальной силой, евангельской правдой и точностью. Начиная с романа «Бедные люди». И Макар Девушкин обладает этим свойством. Достоевский с этого начал. С того, к чему пришел Гоголь. Не смог, не успел по-настоящему воплотить во втором и третьем томах «Мертвых душ». А Достоевский с этого начал. И он всегда это чувствовал. При всей сложности, при всей катастрофичности, многообразном таком проявлении ипостасных судеб и голосов в полифонического романа. Но вершиной здесь оказывается князь Мышкин. А потом Алёша Карамазов, которому предстояла еще более сложная, чем князю Мышкину, судьба в борении с самим собою. В борении ипостасного и личностного. Но об этом не сейчас, не сегодняшним утром. А сегодня хочется сказать, вернее, хочется обрадоваться тому, что это понятие ипостасности столь неисчерпаемо и даёт такую возможность для меня по-новому читать, видеть. Но и беспощадно оценивать себя самого. Что мне удалось. Да по большому счёту, по самому большому счёту, ничего не удалось. Так и хочется это сказать себе самому. Вот это особое свойство ипостасности в отношениях между людьми у меня по-настоящему ещё не было раскрыто. Я пытался, однако, показать ипостасность небытия и бытия, ипостасность в соотношении между этими двумя состояниями. Сущностными состояниями. Мира сотворенного и творящего. Но об этом тоже чуть позднее. Надо собрать молитвенные и другие необходимые мне силы. Поэтому до встречи с самим собой.

25 декабря 2019

Ничего не получилось. Но вот сейчас получится. Вот. Самое естественное моё состояние. И насколько помню, всю жизнь именно так. И для меня правильно. Наверно, есть какие-то основания думать, что вот

получится сейчас. И самое верное – безжалостно сказать себе самому: пока не получилось ничего. Можно в таком состоянии что-то делать, что-то творить; пробовать то, что ещё не попробовано; заново делать то, что уже сделано, и без прежних ошибок. И вот сейчас я могу только одно: сказать о каких-то приметах моего мира, сказать самому себе. Потому что подступает время осознания себя. По возможности, полного осознания себя. Повторю, насколько возможно.

Всё-таки ипостасное соотношение бытия и небытия, наверно, непосильная задача. И для меня непосильная, хотя я сам для себя обосновываю понятие ипостасности. И всегда она будет и для тех, кто захочет после меня попробовать. Тоже попробовать соотнести небытие – как основу всего, творческую основу; и бытие – как то, что ему, этому божеству, удалось сотворить. Эту задачу я пытался решить поневоле. Невыносимая мысль, память о сыне обращала меня к тому, чтобы я это пробовал. И может быть, что-то здесь и удалось. «Небытие всегда не быть готово. Оно особенное божество. Оно прообраз и первооснова любых богов и бога самого». Вот это я всё-таки попытался передать словом. Но это временн-ая ипостасность, если можно говорить о времени, из глубин которого небытие, отрицая себя, становится и является бытием. А есть пространственная ипостасность, о которой мы давно уже говорили, – между людьми, которые для меня ипостаси друг друга. И здесь, в этом моём мире, для читателей трудном и вместе с тем всё же доступном, вот главная особенность и примета: слияние, взаимодействие, взаимопереходность потоков сознания.

В этом, как признавались те, кто меня читал, трудность чтения. Тот, кто читает, а я теперь в положении читателя самого себя, очень часто. Так вот трудность для тех, кто читает это, в том, что порой он не может понять, чей поток сознания выражен в слове. Кто думает, чувствует, говорит, поступает. Но вдруг является некая подробность, а их много, весь текст состоит из таких подробностей, и вдруг одна из них четко определяет – это не тот персонаж, о котором ты думал. Это другой. Но между ними существует глубинная переходность. Они и в самом деле друг о друге знают всё. Где-то знают по опыту, сюжеты существуют и в моём мире, где-то догадываются, где-то интуитивно чувствуют. А где-то небытийно знают, ибо и человеческая жизнь состоит из сложнейшего, не выразимого никаким словом соотношения бытия и небытия. И вот такие сознания живут рядом. Конечно, они отделены

друг от друга гранью ипостасного разделения, разграничения, но грань этого прозрачна и для меня преодолима. Я думаю, что в этом особая примета того, что я хотел бы для себя самого, как некое предчувствие фантаста, – представить эру ипостасности.

Люди только и делали, что отделяли себя от других, сознание от других судеб, от судьбы всего мира. Индусские погружения и медитации как раз на том и основаны, чтобы почувствовать себя центром мира. И чуть ли не единственным центром мира. Когда я был в Индии, там, в Гьян-Сароваре, упражнялись те, кто занимался с нами, с гостями, в таких медитациях. А для меня каждый из таких центров ипостасно соотнесен со всеми другими. С теми, кто рядом так же сосредоточился на себе самом. Между ними возможна и на самом деле уже осуществлена ипостасная взаимосвязь и взаимопереходность. Вот это показать. Боже мой, насколько я чувствую, что смогу это сделать, если некое чудо продлит мою ипостась. Как оно продлило её сегодня, вот этим сегодняшним утром. И то, что зрение уходит, открывает новые его возможности, возможности этого моего уходящего зрения. Вот я начинаю видеть ощутимо, в цветах, формах, красках, в цвете, – то, что раньше не видел. И эта моя ненаписанная повесть, которую я таким образом ежеутренне пишу и диктую себе самому, она только подступ к тому, что мне остается сделать.

Но уже в том, что написано, в повести «Один» я попытался целиком перейти к сознанию сына. Потому и написано от его имени. И может быть, она менее других трудна для читателя. Однажды мой старший сын заглянул в компьютер и, вызвав какой-то файл, стал читать этот текст, не зная, что я его придумал, интуитивно чувствуя, как это могло быть. И он стал это читать как текст, написанный Мишей, и только на какой-то странице вдруг понял, что это сознание ушедшего брата. Что это сознание родилось из моего – отцовского, авторского; авторского и отцовского сознания. Но во всяком случае, трудность чтения здесь всё же невелика. А вот в повести «Стерх» – два сознания, отца и сына. И первая часть – сознание отца, вторая – Миши. Один из моих читателей, несостоявшихся, попытался это определить для себя. Татьяна Петровна Батурина, хороший, острый, очень талантливый критик, позвонила мне и сказала буквально следующее: что вот я начала читать «Стерха», и первое мое впечатление было то, что вы тронулись умом. Но через минуту, когда я ещё продолжила чтение, я почувствовала, что я

сама тронулась умом. И я прервала чтение. А другой критик, Виктор Николаевич Кречетов, который написал статью, может быть, лучшую статью свою, обо мне как раз, вот об этой повести «Стерх», продолжил чтение. Он мне потом, когда ему рассказал о том, как читателю может подуматься, что я тронулся умом, а через какое-то мгновение чтения почувствуешь, что сам тронулся умом, он сказал мне: «это очень точно». Но вот он дочитал, помню, повесть «Стерх», где два потока сознания объявлены, разделены по двум частям повести. Это как бы два центра, которые проникают друг в друга. И, тем не менее, остаются разделенными ипостасной гранью. И там показано, как один из них уходит. И как последнее чувство, которое он испытывает, ещё пребывая рядом, это чувство любви, жалости к отцу. Здесь грань, которая прерывает повествование. Как-то мне пришлось сказать, что очень редко, да я просто не помню случаев, когда кто-то попытался писать, воссоздавать поток сознания за гранью ипостаси. Вот и мне в этой повести «Стерх», может быть, отчасти и удалось развести эти два центра. Представить себе их фантастическую, желаемую мною встречу. Передать это невыносимо горькое, непереживаемое. Оттого, что оно слишком горько. Состояние и сознание уходящего за грань ипостаси.

И я в следующей повести, которая так и называется «Ипостась», попытался собрать много сознаний и показать их соотношение и, действительно, взаимопереходность между ними. Там их много и читать ее, кажется, должно было быть так труднее, ибо там этот переход от одного потока сознания к другому не сразу замечается. И в тексте не сказано о том, что вот здесь есть некая грань между ними. Они как бы естественно переходят одно в другое. И только вдруг осознают, что слияния, ведущего к тождеству, не произошло. Может быть, художественно, по структуре, повесть «Ипостась» – самая трудная. Но ее читали, и она воспринималась теми, кто дочитывал. И какой-то переход между потоком сознания персонажей, а их много в повести, и читательским сознанием, наверно, у кого-то происходил. Мне трудно судить. Хотя чем больше я по времени отдаляюсь от момента, когда повесть творилась, создавалась, когда какой-то голос мне подсказывал каждую фразу, тем больше я сейчас становлюсь таким читателем, как бы заново читая этот текст.

Повесть «Апокалипсис» большая, целиком от имени Миши. Это целиком его сознание, от начала и до конца. Причем, это сознание за гранью

ипостаси, за гранью земной ипостаси Миши. Я писал её долго и, наверно, отучился пугаться этого перехода в тот мир. Я настолько естественно жил этим переходом и сам чувствовал, что я перешёл границу, что привык к этому как к некоей основе моего продолжающегося бытия. Так было, да. Я жил этим, дышал. И может, что-то и выразилась словом, передающим это сознание ушедшего сына как незримое, неосязаемое, невыраженное образно моё собственное сознание отца. Оно полностью перешло в сознание Миши. Я жил этим сознанием и в нём.

А потом, в последующих повестях, таких как «Самосожжение», «Поединок», «Правитель», а позднее «Политик», «Исповедь», «Трое» я пытался уйти от того мира, который создан в этих моих повестях, о которых я только что говорил. Я постарался, насколько возможно, отдалить их от себя, выйти из того мира. И не то, что вернуться к себе, а может быть, иметь силу по-новому вновь вернуться в тот отодвигаемый мною мир. И здесь поток сознания персонажей как-то совсем по-новому создавался. Это были совершенно другие сознания. Те, которые я пытался придумать. На самом деле, тоже кто-то мне подсказывал. Это была попытка, воистину вот, выйти из моего созданного уже мира. И там почувствовать другие центры. Некие знаки из отодвинутого мною мира присутствует там. Таким образом я попытался рассказать о моем погибшем брате, которого я никогда не видел. Я попытался рассказать о моих учениках в 30 школе – повесть «Поединок». Но показав их какое-то совсем особое проникновение в мой мир и мое ответное движение к ним. Ну, и не буду говорить о других уже названных мною повестях.

Но им вот присуще то, что трудно иным читателям. Короткая фраза, когда точка возникает как бы внутри предложения. Точка разграничивает некий кусочек текста даже внутри фразы, который воспринимается как строка, почти стихотворная строка. И вообще эти тексты, вроде бы, требуют произнесения вслух, где точка отграничивает один ряд, один стих от другого. Хотя это прозаический текст. Некоторым такая манера кажется очень понятной, близкой, и они прямо это мне выражали. Читателей у этих повестей больше. Другие, напротив, видели в этом что-то столь для себя трудное и некомфортное для чтения, что они откладывали в сторону эти мои тексты. Кому-то могло, может быть, показаться, что здесь есть не только искание какой-то новой формы, но и повторение пройденного – рубленые

фразы в повестях, ну скажем, двадцатых годов прошлого века. Кто знает? Все эти впечатления для меня важны. Они говорят либо о возможностях ипостасного перехода между этим моим миром, новым, и читателем, либо о трудностях, невозможности для кого-то совершить этот переход. Один из критиков, тот, кто так проникновенно написал обо мне в связи с повестью «Стерх», только сейчас вчитывается в эти тексты. И его недоумение насчёт того, что я, вроде бы, повторяю некие уже бывшие в литературе формы, видимо, как-то перекрывается тем, что он, приняв этот язык, погружается в то, что написано. Как он выражался в разговоре со мной, – содержательно.

Сам я сейчас пытаюсь уйти от этой формы, которая была для меня совершенно естественна. Вообще всегда, во всех случаях, когда я писал эти тексты, некий голос мне подсказывал, диктовал. Может быть, и сейчас я прислушиваюсь к тому, как этот голос мне диктует то, что я пытаюсь сейчас для себя самого сказать в моём разговоре с самим собой. Это было естественно для меня, и пусть так и остаётся. Кому-то это будет близко, кто-то отстранится от этого мира и от этого языка. Но так написана повесть «Поединок», которая вышла за рубежом. Если только кто-то там заинтересовался и затребовал экземпляры изданной там книги. Так и в повести «Правитель», так и в повести «Политик». Но сейчас я пытаюсь отойти и от этого. Вообще точка в середине фразы – это сближение стихов и прозы. Та проблема, которой я так мучился столько лет, пытаюсь решить для себя, кто же я – прозаик? поэт? Здесь, может быть, для меня опять же, не для других читателей, а для меня как читателя, получилось это соединение одного с другим. Ведь стихи и проза, я этого никогда себе не говорил, тоже ипостасны по отношению друг к другу. И на эту тему можно было бы написать много. И, может быть, написать свежо, неожиданно. Проза и стихи не всегда друг другу противостояли, как ипостаси.

Думается, что в романе «Дафнис и Хлоя» Лонга осуществился этот момент перехода. Проза стала подобна стихам, проза стала не только ритмичной, но гекзаметричной. А потом многие теоретики, историки литературы писали о том, что и «Дон Кихот», и «Гаргантюа и Пантагрюэль» – это ещё не проза. А потом Гейне в своей прозе уравнивал и то, и другое: художественно, в звучании. Правдой поэтического самовыражения. Но именно тогда, когда проза воспринималась как некая недолитература, недопоэзия, те, кто избирал эту форму – Сервантес, Рабле – наверно,

чувствовали, что она, эта свободная форма, ипостасна поэтической. И так и писали.

Мне нужно было как-то себя утолить, как-то решить этот вопрос, кто же я такой. И где я буду чувствовать по-настоящему себя свободно. Здесь, если говорить о моём мире, то нужно соотнести мои стихи и эту мою прозу, от которой я пытаюсь сейчас уйти. Где тоже есть и гекзаметричность, и вот эта некая стихотворность: разделение фразы на строки, которые ждут произнесения вслух. Неужели вот эта форма, которой я отдавался совершенно естественно несколько лет, неужели она тоже выражает какую-то очень важную ипостасную взаимопереходность? Уже не только между сознаниями отдельных, между отдельными и отдаленными друг от друга ипостасями, а взаимопереходность между миром стихов и прозы. Неужели она есть некий шаг к тому, чтобы выразить то, что я хотел всю жизнь выразить? Неужели она шаг к тому, чтобы получилось то, в чём я до сих пор могу себе сказать: ничего не получилось. Может быть, что-то получилось, я не судья. Но приближаясь к грани своей временной ипостаси и, казалось бы, теряя прежнюю возможность на взаимопереход в пространственную ипостась, пространственную ипостасность, я этот вопрос вправе себе задавать и, уходя, решать его.

Поэтому в этом тайном разговоре с самим собою я и разрешил себе сегодня, не оценивая то, что сделано, говорить о том, что удалось и не удалось. Может быть, даже о том, что удалось. Во всяком случае, книга, которая была в этом году издана одним из моих товарищей по Союзу писателей, книга, изданная без какого-то согласования со мною, была тем последним чтением, которое я мог ещё не ушедшим от меня зрением, с карандашом в руках, так как книга со мной не была согласована, как бы впервые, читательски, критически одолеть. Я это сделал летом. И после этого зрение стало от меня уходить. Теперь я уже не смог бы заново так, критически безжалостно к самому себе, перечитывать эту книгу. Но в ней соединено многое из того, что не удалось опубликовать в предшествующих изданиях. И прежде всего, в книге, которая так и названа «Притчи». Но туда кое-что не вошло. А тут мой коллега по своей инициативе, беря, видимо, из интернета тексты, собрал и издал книгу, которую я хотел в свое время издать. И даже забыл о том, что хотел это сделать. Поскольку вышедшие «Притчи» были отступлением от замысла. И этот замысел тех «Притч», которые вышли,

оттеснил моё предшествующее прежде, бывшее во мне желание издать книгу, которая неожиданно была всё-таки издана. И поднесена мне. То, что я стал терять зрение, дочитывая этот большой том, по-своему для меня неожиданный, любопытный сюжет. Пока я ещё не готов проникнуть какие-то скрытые причины того, что произошло. Но нечто произошло. И, вероятно, не только потому, что не получилось то, что я хотел сделать. Но и оттого, что я почувствовал, что кое-что получилось. Получилось и обозначило грань моей ипостаси. А теперь, чувствуя эту грань, проникая сквозь её прозрачность, насколько я могу в этом разговоре с самим собою, я пытаюсь, пытаюсь осуществить то, что я никогда прежде не осуществлял вполне. Внутренняя ипостасность, когда происходит не раздвоение сознания, а именно внутреннее разделение. Только что было тождество и вот – разделение. И наступает момент взаимопереходности. И чем для меня разродится это моё ежедневное, ежеутреннее погружение в ипостасного самого себя, я ещё пока не знаю. Но чувствую, может быть, что-то и получится.

26 декабря 2019

Вот она передо мной на столе в красном переплете. Другой экземпляр в сером красивом переплётё. Тот в шкафу. Почему-то я открываю именно красный. Хотя в детстве меня манила и снилась мне книга переплетенная в серое. После операции я смотрю немножечко другим взглядом на иллюстрации. Хрусталик другой, и вот, оказывается, я почти впервые вижу то, что видел так часто всю жизнь. Сначала во сне, а потом и трогая, раскрывая и перечитывая эту книгу. И вот всё равно, и в этом случае, проявляется та особенность, то чудесное свойство бытия, которое есть во всём живом. Видишь то же самое, но немножко иначе. Но ведь и читаешь тоже совсем иначе. И немного не так, как читал прежде. «Ты, вселенную создавший, силой собственной велик, /Дуновеньем животворным бездыханное проник, /Людям дал весь мир – несметной многоцветности цветник, /Странам дал владык, и в каждом отражается твой лик». Какая стройная, воссоздающая как бы идеальную красоту строфа. Я хорошо помнил первую строку: ты, вселенную создавший, силой собственной, велик. Гимн Богу, по значительности и мощи равноценный державинскому. Силой собственной велик. Но вот строка, которую я прежде как будто не замечал, проскакивал

мимо неё: дуновеньем животворным бездыханное проник. Я думаю, эта строка перевода спорит с оригиналом по силе. Может быть, даже в оригинале это и иначе.

Кстати, у меня ведь есть ещё переводы. И среди них дословный или построчный прозаический перевод всей поэмы. И рядом с ним такой ясный по языку, такой простой, совершенный в стихотворном своём проявлении, лёгкий и для меня совершенно не близкий при этом перевод Заболоцкого. Заболоцкий как будто специально переводил не так, как Петренко. Петренко нагнетал, сгущал те особенные, могучие краски и формы, эту образность, но иногда преувеличивал её, иногда вносил что-то своё, равноценное. А ведь как физически ощутимо сказано: дуновеньем животворным бездыханное проник. У Микеланджело показано, как летящий Бог протягивает свой перст к руке только что созданного, но ещё бездыханного Адама. Впрочем, Адам тоже протягивает руку навстречу Богу. Он, еще будучи бездыханным, движется, ждёт встречи, хочет, чтобы его палец прикоснулся к пальцу Бога-отца. И всё же он пока ещё лишён дыхания, хотя всё в нём приспособлено, создано так, чтобы он дышал. И всё-таки Руставели в переводе Петренко словесно создал необъятный образ, более всеобъемлющий, чем на фреске Микеланджело, где прорисован каждый мускул готового к жизни Адама. Здесь говорится обо всём бездыханном, которое проник своим животворным дыханием Бог. Я представляю себе этот необъятный мир вселенной лишённым дыхания, лишённым движения. Этот могучий выдох божества, который всему придает жизнь. И вдруг всё расцветает навстречу ему и отражает его. «Людам дал весь мир – несметной многоцветности цветник, /Странам дал владык, и в каждом отражается твой лик». В поэме далеко не всегда владыка отражает своим ликом лик Божий. Ошибки совершают владыки. И Тариэл оказывается в конфликте со своим царем, когда тот решил выдать Нестан-Нареджан за другого. Вряд ли божий лик отразился в лике этого владыки в тот момент. Или в те дни, когда Тариэл восстал против него. И тем не менее, вся строфа дает как бы полную, совершенную модель человеческого бытия. Такого, каким оно призвано быть. Таким, каким Господь вдохнул в него жизнь, придал ему цветение и придал ему ипостасную близость с самим собою. Как будто передал ему ту силу, который обладал сам: «силой собственной велик». Ниоткуда не приавший эту силу, несший изначально её в себе самом.

У Гермеса Трисмегиста такое же представление о Боге. Он в себя вмещает всё, и он ни от кого не заимствует ни силы, ни своей возможности стать собою. Он несёт её в себе и, конечно, отражает себя в том мире, который он заключает в себе. Правда, в тексте Трисмегиста Бог есть всё. У Руставели Бог вдохнул жизнь во всё. Но перед этим он всё создал: «ты, вселенную создавший, силой собственной велик». Прежде я не читал эту первую строфу поэмы так подробно, всматриваясь в каждую строчку перевода. Вот сейчас еще одна строфа. Попробую, не пользуясь лупой, своим собственным глазом перечитать самое начало второго сказа: «У потока сидя чуждый, чудный юноша рыдал, льву подобный, в поводу он тьмы темней коня держал, удила, седло и сбрую крупный жемчуг покрывал, слезный дождь из сердца хлынул, и на розу иней пал». Везде, в каждой строфе, перевод чудесен. И точно в нём текст «Витязя» не просто передан. Для того, чтобы быть равноценным оригиналу, для того, чтобы быть ему созвучным, нужно, чтобы он в чём-то был сильнее оригинала. И это сила не вторичная. Она как будто впервые оживляет текст, даёт ему жизнь. И поэтому она по следам оригинала может быть сильнее, ярче, монументальней. И свойственная восточной поэзии многоцветность, изобилие предельных гиперболических уподоблений и олицетворений, в русском тексте должна быть выражена ярче, роскошнее. И тогда перевод состоится.

Удивительно, в этом случае даёт себя обнаружить та же особенность, какая была и в переводе, гнедичевском переводе «Илиады». Там образность была другая, связанная с библейской, церковно-славянской, древне-русской, освященной Библией лексикой. А здесь собраны все краски, какие только возможно было собрать, все драгоценные камни слов, все предельные степени уподобления. И таким образом было передано не только звучание оригинала, но и восхищение этим звучанием: «Тариэл навстречу вышел, стало два подобных дню, /Стлался отблеск по долине и по горному гребню». Стало два подобных дню – трижды звук «д» одухотворяет всю строку. И чтобы как-то расстаться с этим образом, во второй строке или в четвертой строфе шаири дважды звучит звук «г»: стлался отблеск по долине и по горному гребню. И так Петренко играет словами, звукописью почти всегда. Почти везде в своём переводе. «Людам дал весь мир – несметной многоцветности цветник». Многоцветности цветник – он повторяет слова одного же корня с тем, чтобы усилить их совместное, соседствующее

звучание. Он играет этими повторениями, взаимными усилениями соседствующих слов и однокоренных: Тариэл, металл в металл. Это в той песне, где следы его богатырской руки видны, когда крепость Каджи была взята. Оказывается, повторение усиливает.

Такого стиха, такого языка в русской поэзии не было. Это грузинская русская поэзия, не только пересоздающая поэму Руставели, но рождающая ее в новом роскошном образном одеянии. А в прекрасном легком переводе Заболоцкого этого принципиально нет. Он пытается быть почти разговорно простым, ему это изумительно удаётся. Блестящий, почти незаметный, обычной речью выполненный стих, и, кроме того, вариация двух типов шаири. Шаири с женским окончанием строк, шаири с мужским окончанием строк. Петренко от этого отказался. Он прекрасно знал о том, что существуют эти два варианта и что они передают в оригинале некую разницу, они содержательны. В разных случаях Руставели применял то тот, то этот вариант шаири. Нет, Петренко, оглядываясь на Лермонтова, всё заковал в мужские окончания своих русских шаири. При этом он, конечно, помнил и лермонтовского «Мцыри», и перевод «Шильонского узника» Жуковского. Если всему придать некое единство клаузул этих окончаний строк, поэма станет более монументальной. Это тоже какое-то преображение, не просто вновь рождение поэмы на другом языке, а её преображение. Мне приходилось читать перевод Петренко от начала до конца вслух. Его нельзя читать много. Роскошь и монументальность этих строф может даже показаться где-то однообразной. Такого впечатления гнедичевская «Илиада» не производит. Да и «Одиссея» в переводе Жуковского, а он её перевёл как бы на язык сказочного повествования, на язык русской сказки, но сделал это совершенно незаметно, спрятав наиболее яркие приметы этого языка в своих гекзаметрах. Гомер не кажется однообразным, втягивает в себя. И начинаешь жить и дышать вместе с ним, и дышишь долго и удивляешься, когда вдруг песнь прерывается.

Перевод Петренко производит иное впечатление. Это значит, что его надо иначе читать, понемногу, по несколько строф. Тогда он раскроется так, как, может быть, ни один другой перевод ни одного другого произведения в русском опыте. Это какое-то произведение единственное в своём роде. И его масштаб, монументальность его могучая, гиперболизированно могучая в слове, в образах, мощь, будет открываться каждый раз, когда

перечитываешь, совершенно по-новому. И вот сейчас, всматриваясь в текст моим всё-таки ещё видящим глазом, я испытываю то, что не испытывал никогда. И я благодарно вспоминаю тот день, когда впервые увидел эту книгу. После чего она так долго снилась мне и как бы приглашала к тому, чтобы творить совершенно по-своему. По возможности, зная как можно больше из того лучшего, что было создано в слове, но находя для себя совершенно небывалые и мгновенно принятые душой краски, образы, звуки. Таким был и стал для меня, и останется для меня мой Руставели. Перевод Петренко редко переиздается. Чаще всего печатают перевод Заболоцкого, прекрасный, но оставляющий мою душу в покое, не проникающий меня животворным дуновением этого могучего преображения. Которое нужно знать, что оно возможно. Его нужно, это преображение, знать, чувствовать, пробовать и быть ему верным.

Художественная удача образа и всего произведения – это когда я чувствую, что кто-то этот мой образ принял. Это ощущение межпостасного преодоления. Я сказал нечто такое, что именно так, как я сказал: принято кем-то, кто читает или слышит. Вот две строки из двух переводов «Витязя в тигровой шкуре» Руставели. «Увидали, некий витязь плачет над рекой у чащи». И второй перевод: «У потока сидя чуждый, чудный юноша рыдал». В детстве эти две строки были для меня примером того, как настоящий художественный образ отличается от ненастоящего. Некий витязь плачет над рекой у чащи. Я здесь ничего не видел. Да, я получал некое сообщение. Но многое в этой строке было совсем не обязательно для меня. Увидали – некий витязь плачет над рекой у чащи. Все это трудно выразить словом, насколько не складывается в единый образ. Образ этот лишен масштаба, лишен той какой-то таинственной могучей силы, лишен всего того, что есть во втором переводе. «У потока сидя чуждый, чудный юноша рыдал». Витязь плачет – не то сочетание. Некий – не передаёт необычности происходящего. У чащи – совсем не обязательно. Во втором переводе: «сидя, чуждый чудный юноша рыдал». Не плачет, рыдает. Чудный – несет в себе какую-то таинственную силу, говорит о красоте, недоступной, чтобы можно было разглядеть. Таинственный и какой-то совсем необычный. Сидит чуждый, один. И не только один – этот чудный юноша чужд миру. Можно много говорить об этой строке перевода Петренко. Который в детстве был мне не так уж доступен, и поэтому таинственность образа усиливалась. Я не имел столько накопленных

мною средств, чтобы купить эту книгу с рисунками Кобуладзе, где всё имело именно такой, присущий переводу Петренко, масштаб, таинственность, необычайную красоту, выраженную каким-то особым способом.

И я чувствовал – это не Данте, это не Гомер. И не гомерова «Илиада», «Одиссея». Там всё можно было разглядеть. А тут это вставало как некая загадка, что-то недоступно прекрасное и что-то очень большое. Где самые обычные человеческие чувства как будто противостояли всему обычному и поэтому требовали этой какой-то совсем особой красоты слова и образа. А главное, я мгновенно этот образ принял. Достаточно было в книжном магазине, где я впервые увидел это издание (мне дали его посмотреть, лежал на витрине прилавка), я всего лишь пролистал несколько страниц, я всего лишь прочитал эту строку « у потока сидя чуждый, чудный юноша рыдал», и прочитал даже не в тесте, а на кальке, которая перекладывала иллюстрацию Кобуладзе. Там вот, в нижнем правом углу этой кальки, печатали строки, объясняющие то, что проиллюстрировано. Они были тем, что иллюстрируется. Они были образом, который передается. А иллюстрация была тем неким дополнительным способом передачи этого образа. И я поразился тому, как текст этой незнакомой для меня поэмы (первый раз я встречался с ней в книжном магазине, первый раз прочитал имя поэта Руставели), так вот мгновенно, в первые же секунды, когда текст и эта иллюстрация были для меня открыты, я принял этот образ.

Я принял этот мир особый, я принял этот особый стих, я вдруг почувствовал, что возможен и такой мир. Он совсем другой, он не похож на все миры, с какими я встречался, на все поэтические миры. Он чем-то напоминал лермонтовский мир. И вместе с тем, он был совсем каким-то по-особому прекрасным, таинственным, могучим. Ну и что же получается? Художественный образ и всё произведение, отраженное даже, может быть, в отдельной строке, из тех строк, из которых он состоит, одна строка может вобрать в себя всю магическую особую силу текста. Что вот этот вот особый совершенно мир мгновенно стал моим. И будет долго моим. Так получалось, что я несколько раз потом видел это издание и каждый раз просил его мне показать, перелистывал страницу за страницей, иллюстрацию за иллюстрацией, и каждый раз у меня не было нужного количества накопленных рублей, чтобы купить эту книгу. А у меня было уже несколько изданий «Витязя в тигровой шкуре». В других переводах. Георгия Цагарели,

Шалва Мицубидзе и даже Константина Бальмонта. Я сравнивал их и всё время помнил о той строке, которая оставалась для меня недоступной.

И ни один из этих переводов не был так родственно и страшно мне близок. Я почему-то вспоминал Тянь-Шань, эти темные чёрные вечера у подножия великих гор, где притаился наш посёлок. И где мы при свете свечи читали Лермонтова, и я запоминал стих, каждый стих, один за другим. И сейчас слышу голос отца, который читает «Мцыри», «Демона», «Измаил-Бея». И вот я чувствовал, что этот недоступный для меня, но сразу принятый мною перевод «Витязя» родственно, кровно родственно, близок моему любимому Лермонтову. И что для меня вот этот, красивый, могучий и пока ещё недоступный перевод это и есть моя возможность побывать на Кавказе, услышать эту незнакомую мне грузинскую речь, полюбить её. Ведь полюбил же я украинскую мову – украинцы жили вокруг в этом посёлке. А это была совсем другая речь. И я чувствовал, что встреча произойдет, что когда-нибудь я буду иметь эти строки и эту книгу. Так оно и произошло. У меня есть даже несколько экземпляров теперь этого издания.

И каждый раз, когда я открываю книгу, меня охватывает то же самое чувство, какое было, когда я в первый раз увидел и прочитал эту строчку: «у потока сидя чуждый, чудный юноша рыдал». Потом, когда я прочел весь перевод Петренко, я увидел несоизмеримость этого текста ни с Гомером, ни с Данте. Но с ним была связана какая-то моя особая любовь к такой поэзии, к такому особому способу передать образ и к такому чуду приятя образа. И потом я, даже когда пытался писать сам, все время вздрагивая, сравнивал с этой строкой всё, что пытался выразить словом, ритмом, рифмой, звукописью. Когда каждый звук строки сочетается со всеми как-то по-особому значительно, красиво. « У потока сидя чуждый, чудный юноша рыдал». Сейчас я понимаю, что здесь и в этом случае живёт особое – тайная и явная сила ипостасного взаимоперехода поэта к читателю и читателя к поэту так, как она была пережита и родственно принята мною, узнана мною в детстве. Сначала в стихах Лермонтова у подножия Тянь-Шаня, в эти чёрные вечера перед сном, в нашей комнате, при свечке, голосом отца. А потом книга, о которой я мечтал много лет. И, наконец, то, что она пришла ко мне и вот стоит на полке. Сейчас я её выну и своим уходящим от меня зрением ещё раз увижу текст и наизусть прошепчу эти строки, которые от меня никогда и никуда не уходили и не уйдут. Мир Руставели был по-особому для меня

прекрасен, потому что это был многоголосый всемирный обзор бытия. Ну, в самом деле, Тариэл связан с Индией, Афандил из Аравии, как и его возлюбленная Тинатин и её отец Ростэман. Нурадин-Придон – ещё другая страна. И на всё на это смотрел своими особыми глазами грузинский поэт. А некий неизвестный для меня Пантелеймон Петренко это так передал своим стихом.

Я не знал тогда, как оборвалась жизнь Петренко. Позднее я прочитал о том, что он как-то ночью переходил мост над пропастью на Кавказе и встал на перила, взмахнул руками и сказал, что он птица – и рухнул в эту пропасть. В детстве, отрочестве я не знал. Я только читал о том, что жизнь Петренко трагически оборвалась, и он не успел отшлифовать свой перевод. И всё же его печатают. И может быть, когда-нибудь кто-то к нему прикоснется и довершит недоделанную правку. А на самом деле, тот, кто писал предисловие, мне так казалось, я так чувствовал, был убеждён, что этот текст нельзя трогать. Зачем трогать текст, который сумел передать этот несказанный могучий образ хотя бы одному читателю. Разумеется, не одному. Но одним из них был я, который этот образ принял. Итак, художественность это тоже ипостасность в особом её проявлении. Которую сразу почувствуешь, мгновенно, в первую же секунду, как только прикоснешься к тексту, как только услышишь это перед сном. И как только в букинистическом магазине впервые на кальке, закрывающей иллюстрацию, прочтёшь этот могучий, прекрасный, таинственный, недоступный и полностью переданный тебе стих.

27 декабря 2019

Далёкое и таинственное становится явным и близким, и при этом не теряет своей красоты. Вот в чём пафос «Витязя в тигровой шкуре», как я его понимал в детстве. Всё разрешилось. Далёкое приблизилось. Нестандарджан была освобождена. Авандил, Тариэл, Нурадин-Придон встречались друг с другом. Всё тяжелое, невыносимо трудное осталось позади. И Руставели было грустно кончать свою поэму, ибо завоеванное, добытое счастье кратковременно. То, что прекрасно, уходит. И безвестный месх Руставели с грустью прощается со своими героями и плачет о своём Тариэле. Вечно плачет. Хотя герой, достойный счастья, подарен им в конце.

Это было мне близко и щемило душу. Я чувствовал, что мне предстоит пережить что-то подобное. Конечно, речь шла не о сюжетах, а о чём-то другом, что я не представлял себе и не мог вообразить. Но предчувствие оправдалось. И сейчас, когда ипостась завершается, и в ней больше несчастья, чем счастья, мне всё равно грустно с ней расставаться. Петренко, к сожалению, не кончил свой волшебный перевод «Витязя в тигровой шкуре». Кончал другой, этот перевод. Но можно только вообразить, как талантливый русскоязычный поэт мог бы завершить свой труд своего руставелиевского «Витязя». Но и по тому прозаическому переводу, который есть у меня, и по другим переводам – и Цагарели, и Нуцубидзе, и по тем строфам, которые к бальмонтскому переводу были дописаны другим автором, можно представить себе эту щемящую, не утоленную ничем грусть.

Достигнуто было слишком многое. И, кстати, мне казалось тогда, что то, что было достигнуто героями поэмы – прообраз того единства, какое представлял собой, как мне казалось тогда, Советский Союз. Союз народов, сближающий, роднящий их культуры, приоткрывающий тайны каждого из них. И в поэме, где сдружились и Аравия, и Индия, и Грузия, потому что автор грузин, была обозначена большая российская или евразийская общность героев, народов, стран. И неужели я чувствовал тогда, что это всё пройдёт, что это всё когда-то разрушится? Да и сама история нашего единства, скрепленного победой в войне, в той войне, которой я был всё же свидетелем. История эта была полна трагических сюжетов, и постепенно раскрывалось многое из тех горьких, страшных насилий, преступлений, судеб тех, кто жил в этой стране, в этом единстве стран и народов. И всё же там было нечто достигнутое, нечто добытое и завоеванное. И я чувствовал, что это кончится. И то, что, несмотря на насилия, преступления, всё то, что противоречило победе, – всё-таки было. И великая поэма как будто предсказывала это единство, предсказывала одоление, преодоление зла, героическое преодоление. Что всё это пройдёт, что всё это останется в прошлом, и неутолимая грусть вызвана будет тем, что невозможно это вернуть. Не только потому, что ушедшее не возвращается вполне, но и по другой причине. Потому что в самом этом прекрасном и добытом единстве было столько зла. И зло это восторжествует. Оно оправдывает разрушение добытого счастья. Сейчас, мне кажется, очень многие, без всякой связи, конечно, с «Витязем в тигровой шкуре» и совсем иначе, чем в моих детских

переживаниях и предчувствиях, испытывают эту горечь и боль. А тот, кто не испытывает её, наверное, не из лучших людей. Он лишен того счастья, которое всё же было подарено мне в детстве. Он на развалинах того, что он так и не смог полюбить. А то, что было завоёвано, заслуживает любви, несмотря на страшные поправки и опровержения памяти о том зле, которое было тогда.

И вот, соотнося миры, которые владели моей душой тогда, я все же признаю, что гомеровский мир был самым мудрым и самым глубоким, самым победным осознанием, осознанием возможного человеческого счастья. И это несмотря на то, что «Илиада» – это рассказ о гневе Ахилла и о страшных его последствиях. И гибели стольких людей и героев. «Одиссея» – тоже рассказ о преодолении и о кровавом, в итоге, одолении Одиссеем человеческого зла. Лишь Афина устанавливает там, в конце поэмы, мир между Одиссеем и его народом. Хотя он вполне справедливо защищал своё счастье и свою Пенелопу. Но страшное убийство нахальных и не достойных ни Одиссея, ни Пенелопы гостей его дома это тоже жуткий финал. И лишь мудрость богини-покровительницы Одиссея позволила одолеть это зло, это проявление хаоса в космическом мире. Меня занимало, конечно, интересовало очень то, почему так по-разному показаны боги в «Илиаде» и «Одиссее». Они страстны, по-человечески живы, несмотря на своё бессмертие, – в поэме о гневе Ахилла. И они совершенно лишены этих человеческих слабостей в «Одиссее». Зевс, установивший космос и устанавливавший его всё время, каждый день действиями героев, что отразилось в мифологических сюжетах, – хаотическое; Зевс, для которого самым ненавистным из богов был Арей, бог войны и раздора, в «Одиссее» – победил. И победа на Олимпе над злом и противоречиями между богами; над их злобой друг к другу обращенной; над тем, что они, увлекаясь людскими делами, враждовали друг с другом; победа над всем этим была небесной победой. Которая отразилась в земных делах и в сюжете «Одиссеи», но отразилась так страшно, кроваво, жестоко. И несмотря на то, что при всей героической красоте повествования, по сути, настоящей идеализации у Гомера нет, он героизирует бытие, но не идеализирует его, даже несмотря на то, что показывает его идеальность. – И вот, несмотря на то, что мир Гомера не идеализирован, он прекрасен, он космичен. Космичен, тем более, что показана ежедневная схватка космоса и хаоса, мира и войны,

лада, красоты и разрушения человеческого космоса. И вот именно такой мир, внушающий мысль о том, что ничто нельзя и не надо идеализировать, не надо лгать себе самому, закрывая глаза на то зло, которое существует рядом. И вместе с тем, нельзя не любить красоту, подвиг и победность одоления. Вот, наверное, почему, кончая дочитывать и перечитывать «Илиаду», где повествование завершается плачем троянок во время погребения Гектора: «Так погребали трояне конеборного Гектора тело». И дочитывая «Одиссею», где, несмотря на жестокую, справедливую по-своему, но кровавую расправу Одиссея над врагами его дома, дочитывая ту и другую поэму, я не испытывал этой щемящей грусти, которую почему-то переживал, дочитывая и ещё раз перечитывая «Витязя в тигровой шкуре».

Переживал потому, что Руставели испытывал эту грусть. Не было в «Витязе в тигровой шкуре» такого уж глубинного раскрытия христианского мироотношения, отношения к людям. Героическое и христианское в значительной мере – не одно и то же, совсем даже не одно и то же. Благая весть о Христе отсутствует в «Витязе в тигровой шкуре». Там есть Бог, там есть мотив судьбы, а поступки героев благородных, друзей, Автандила, Тариэла, Нурадина-Придона, вынужденных бороться, вынужденных сражаться, убивать. Эти убийства, эти военные схватки показаны щедро. Всё это имеет отношение к христианскому чувству, христианской правде, христианскому спасению. Знаменитый эпизод, когда Тариэл увидел льва и тигрицу, их любовную схватку, чрезвычайно в этом отношении замечателен и глубок. Тариэл вспомнил свои ссоры с Нестан-Дариджан и набросился на льва, который не достигая своей любовной удачи, терзал тигрицу: «Я набросился на зверя, извлекая лезвиё, и по темени ударив, погрузил в небытиё». Это перевод Петренко. Увидев льва, он бросается обнимать тигрицу в память о своей возлюбленной. Но она терзает его когтями, и он убивает её. И рассказывая об этом Автандилу, кончает вновь рыданиями, плачем. Это очень важный эпизод в поэме, и в нем нет отблеска христианского отношения к миру, по всему живому. Героическое – да. То, что оно пронизано чувством великой верной любви, обречённой на такие страдания, – да. Достаточно вспомнить ещё и Автандила и его любовь к Тинатин, которая подвигла его на подвиг поисков Тариэла, на подвиг слияния его, Автандила, судьбы с судьбою таинственного героя. Всё это, казалось бы, очень близко к христианству, но печати отблеска христианства в поэме нет. А

тем не менее, мы знаем – Руставели совершил путешествие в Иерусалим. И там, рядом с иерусалимским музеем, есть улица Руставели. И сохранилась даже фреска с его изображением. Он, уже старец, был в Иерусалиме, видимо, причащался к какому-то подлинно христианскому переживанию.

Это удивительно в поэме. Но удивительнее всего то, что дружба героев, слияние их судеб, их безграничная любовь друг другу несмотря на жестокость мира, несмотря на то, что счастье столь недолговечно, проходит, уходит в прошлое. Вот это чувство, которое воспето в поэме, чувство, конечно, связанное с ипостасностью отношений. Вот оно глубинно роднит «Витязя в тигровой шкуре» и христианство. «Витязя в тигровой шкуре» и Евангелие. Тут есть о чём подумать. Но я думал об этом, не используя, разумеется, термин «ипостасность». Я не знал его тогда. Но я соотносил это с моей христианской верой, с верой тогда вполне канонической, насколько я мог это знать. И точно исполнять движениями души своей, мыслями даже самими, молитвами, которые я вспоминаю сейчас. Я соотносил с этим миром, который одухотворяет «Божественную комедию» Данте с полуязыческим, героическим, но одухотворенным любовью творением Руставели. Я чувствовал, что дружба героев, приведшая к дружбе стран, народов, вообще целого континента, вообще то единство, которое соединило вселенную, показанную в поэме, духовно соединила, с чего Руставели и начал своё произведение – что она в гармонии с моей христианской верой, что она отчасти прообраз того, что, несмотря на всё зло современного мира, творилось вокруг меня и победно утверждало благо единения и веры. Что всё это пройдет, и что над всем этим может существовать какой-то другой мир. Это именно тот мир, который показал Данте. И действие происходит там, за чертой земной ипостаси. Но в это действие включён, главным героям его оказывается человек, не покинувший земную оболочку своего существования.

Это гениальное соотношение ипостасности бытия и небытийного, но духовно победного, царства свободы очень многое объясняло для меня. И бросало тот особый свет духовности, свет моей веры от Данте к Руставели. Я именно так соотносил эти поэмы и был счастлив, что одарен возможностью погружения, бесконечного погружения в эти миры. В миры, которые, по сути, стали моим миром. Они жили внутри меня, моего духовного мира, ежедневно. Я знал, что то великое и благое, что восторжествовало у меня на

глазах, восторжествовало победой над войной, победой над злом, что оно пройдёт. Несмотря на то, что это всё когда-то разрушится, моё это внутреннее духовное многоголосие, эта ипостасность миров, живших в моей душе, будет спасительна для меня. Быть может, воистину спасительна.

28 декабря 2019

Законы ипостасного бытия – божеские или человеческие? Это вот мой, мой личный толстовский вопрос. Толстой ведь полагал, что следовать надо не человеческим, а божьим законам, выраженным в заповедях Нагорной проповеди. Так, как он их истолковал. Ну, а мои представления: ипостасность восходит к христианской вере. Я уже не раз говорил себе самому, что нигде, а именно в христианском выраженном слове, высказанном и невысказанном, содержится источник самого понятия «ипостасность». Ибо именно эта вера утверждает особую, глубинную, несказанную связь между ипостасями: Богом отцом, Богом сыном, Богом святым духом. Я же эту связь распространяю на всё бытие. И в этом, наверное, и содержится опора для того, чтобы ответить на мой толстовский вопрос: божеские или человеческие законы открывает понятие об ипостасности. Само представление о Боге – каноническое, неканоническое.

В мире духовной культуры принципиально важно свободное ощущение, предощущение правды. Каноническое имеет свою правду и свое право. И в детстве, хотя я и не был крещен, я как мог, насколько понимал то, что делаю, то, что чувствую, старался быть канонически верующим. Да я думаю, что я и был таким. Но вот в какой-то момент родилось понятие о духовной культуре, которая шире, больше, чем только религиозное сознание. Она многоголоса. И каждый из этих голосов паритетен по отношению к другим двум. Именно поэтому они так связаны между собой и неотрывны друг от друга. Религиозное, научное и творческое, когда человек вступает в сыновнее соревнование с творцом. Конечно, есть и онтогенез, и филогенез. А я, наверное, не пользуясь этим словом, утверждал некий теогенез. При этом я свободно разрешаю себе эту свободу и, больше того, чувствую, что её мне разрешает и Бог. Каким бы он ни был. Даже если его нет, он всё равно мне это разрешает – право на представление о паритетности голосов духовной культуры. И правильно то, чтобы эту

паритетность почувствовать во всём сущем. То представление о Боге, которое, как у Гермеса Трисмегиста, по сути, включает в себя всё бытие, родилось рано. Оно пережило рождение и победу, духовную победу христианства, оно живёт и сейчас. И здесь дело не только в герметической замкнутости и тайне, которая оберегает и укрывает от профанов герметическое вероучение. Не только в этом. А в том, что здесь есть своя неумирающая правда, доступная человеку, который, возможно, заблуждается, но имеет право на честный духовный поиск.

И вот она живёт, эта правда, и сейчас. И вероятно, некая особая, по-особому преображенная традиция герметического знания останется и в будущем. Может быть, она перестанет быть герметической и вполне будет осознана как часть духовной культуры. Представление о Боге как обо всем бытии. О том бытии, которое создано тем началом, которое духовно объединяет бытие всё целиком. О том бытии, которое, по сути, является всем сущим и несёт в себе тайну с самого рождения, самоосуществления. И то, что роднит её с человеком, вернее, человека делает сыном божьим в этом широком понимании, – это попытка осознать себя, познать себя. Не только человек пытается познать себя. Как сын Божий, чувствую некую опору, веря ей, боясь её, порой канонически следуя ей. Но и в себе самом человечество находит эту силу самодвижения, саморождения, самопознания. И вот один шаг, и мы допускаем, что и Бог, столь широко понятый, тоже совершает в себе самом этот путь к самопознанию. И что всё бытие или, как Толстой определял бы, вся жизнь, понятая как подлинное сознание жизни, вся она есть попытка Бога познать себя. Прометей у Гете говорит: «я руки протянул, как только я заметил, что тянутся они». Гений Гете здесь вложил в уста Прометею некий общий закон: в начале было дело. И дело это и есть то, что у Бога, и то, что и есть Бог. Наше детское представление, может быть, верное, каноническое, говорит о том, что Бог осознавал всё до того, как создал это всё. Да и у Гермеса Трисмегиста, вероятно, это тоже так. А вот это ипостасное учение говорит о другом.

Да, учение об ипостасном бытии говорит другое. Может быть, уподобляя Бога человеку, оно говорит о том, что Бог сам себя пытается осознать. И мы – одна из его попыток осознать себя. Попыток этих много. Движение – оно ипостасно по природе своей – уже есть эта попытка. И мир природы во всём её богатстве, и флора, и фауна, и, наконец, человек – всё,

все это попытка Бога себя осознать. Это достаточно ясное учение, по-своему, убедительно. Насколько к нему применимо понятие веры? Проверить его? Но ведь весь опыт, доступный человеку, есть проверка, убеждающая в том, что это так. Бог себя осознает, и человек себя осознаёт; и он протягивает руки, когда замечает, что тянутся они. Неужели получается так, что вот это учение, в основе которого лежит то, что Бог – есть всё, неужели это учение разрешает кажущиеся неразрешимыми проблемы? Всё объясняет, а, главное, даёт надежду. Не только даёт надежду, но утверждает надежду на то, что сбудется и осуществится всё желаемое человеком. И всё, пока ещё для него недостижимое.

И «Прометей» Гете здесь оказывается гениальным манифестом, выражающим это человеческое чаяние. Прометей у Гете – сын богов. Они его оберегали, они чтили его первые шаги, они заботились о нём. И пока он возрастал, он был им покорен, как их дитя. Но мысль Прометея в другом. Он знал, что всё, что он совершал, было совершено именно им, всё это рождалось из его воли. Как бы ни заботились о нем родители, он вырастал сам. И он осознавал это своё взросление. А став сам взрослым, он отделил себя от родителей-богов. Он сам создал свою вселенную, сам воплотил себя в детях своих; в этих созданных ещё, слепленных им из глины статуях. Сам, с помощью Афины, которая (или Минервы), которая тоже своего рода проявление Прометея, поэтому она любит Прометея, – с ее помощью он вдыхает в них жизнь и теперь предназначает им жить, страдать, радоваться и не обращать внимания на богов, как это делает сам Прометей. Вот этот порыв «бури и натиска» оказывается не просто каким-то гениальным иступлением, особым, может быть, даже не естественным состоянием, которое потом Гете умерил, во многом от него отказался. А на самом деле, ему был обязан всем. Вот этот порыв есть более основательное утверждение более подлинной и более основательной религии. И это уже и не религия. Это вечная проверка, которая утверждает правду проверяемого. Это уже не вера, а опыт. И во всем богатстве своих возможностей опыт этот готовит эру разрешения, осуществления всех чаяний, всех надежд. Обращаясь к Зевсу, Прометей Гете говорит: «Иль, может быть, ты думаешь, что я возненавижу жизнь, убегу в пустыню – только потому, что не все сны мои сбылись наяву?» Вопрос этот остаётся без ответа. Вернее, есть и ответ: «Нет, я не убегу в пустыню; я здесь стою, я здесь творю людей, мне равное по духу племя».

Да, наверное, я не вполне оценивал масштаб этого Прометеева порыва Гете. Он, в этом бесконечно многообразном, неисчислимом своими попытками, эпизодами в духовном процессе Божьего самопознания, в котором человеку отдан пока приоритет перед всеми другими его, Бога, попытками, – он есть то учение, которому принадлежит будущее? У Гете только нет идеи ипостасности, хотя есть идея метаморфозы растений, где он пытался проверить свой, умеренный им же самим, штюрмерский порыв опытом науки, искусства, самопознания и самотворения во всём его богатстве. Он почти приближался, почти совсем приближался к этой идее: «мне равное по духу племя». «Радоваться, плакать, наслаждаться и на тебя (на тебя, Зевс) не обращать внимания, как я». Ведь, по сути, это и есть учение об ипостасности людей. Ипостасности по отношению к своему создателю, Прометею. Ипостасности по отношению к Богу. Прометей, хоть и не Бог, как он сам говорит, но он чувствует себя ничуть не меньшим, чем они. Они требуют от него всего лишь сыновней покорности, а он осознаёт своё равенство с ними. Но отвергает мысль о единстве. Именно здесь граница этого порыва «бури и натиска». Всего лишь не хватало идеи ипостасности, чтобы она так и осталась новым евангелием, тем открытием, которому предназначено не просто соревноваться с канонической верой и не заменять её, а быть ипостасной с ней. Этот шаг не был сделан. И я уже не боюсь самому себе сказать, что делаю этот шаг. Делаю, насколько могу; делаю, конечно, не имея всего опыта, но, черпая его, ипостасно черпая его из всего того, что было сотворено. Из всего того, что движется, само себя творит, из всего того, что себя выражает во мне, из всего того, что воплотит всё несбывшееся моё. Оно сбудется. Я не то что верю в это, я предощущаю это, предчувствую это. Это предчувствие даёт мне быть собою и спасает меня. И теперь всего лишь остаётся найти новые, более точные слова в этом словесном выражении божьего самопознания, которое осуществляется в людях, осуществлялось и будет осуществляться. И посылно, применительно к моим возможностям, живёт и осуществляется во мне.

29 декабря 2019

Монистическое представление о Боге, возникшее уже в древности, казалось бы, в эру язычества, отразившееся, в частности, в текстах, связанных

с Гермесом, трижды величайшим, Трисмегистом, казалось бы, решает все вопросы о соотношении материализма в будущем и в прошлом – идеализма. Ибо это представление, отождествляющее Бога и его творения: бытие, вселенную, всё, что создано, в самом деле, учитывает, с одной стороны, нечто, иначе как божественной силой не объяснимое, – энергии, духовное начало – и материю, представленную в античных элементах – земля, вода, огонь, воздух и в других проявлениях. Всё это вместе есть Бог и одновременно его творение. Творец и творение отождествлены. И нужно сделать ещё шаг или шаг, чтобы осознать вывод: Бог, который тождествен своему творению, творит себя сам и пытается себя осознать с помощью опыта человеческого познания и самопознания.

У Гете, во всяком случае, почти об этом и идёт речь. И всё же, если вспомнить, что «Прометей», по сути, предшествовал «Фаусту» у Гете, то можно проследить, как Гете корректировал свой манифест эпохи, периода «бури и натиска». В «Прометее» герой творит людей. Но уже мир сотворён. Существуют олимпийские боги. А над ними и над Прометеем – судьба. И тем не менее, он противопоставляет свой мир всему остальному. Эпиметей спрашивает его: «много ли твоего?» И он отвечает: «Это всё, что я наполняю своим действием. Это та вселенная, которую я сам создаю». Потом Кант будет говорить и писать о том, что, по существу, человек познаёт то, что сам создал. Но это создание равновелико тому, что окружает человека; тому, что, казалось бы, ему предшествует; тому, что, вроде бы, им владеет, ему диктует. Вот так Прометей разделит свой мир творчества и творчества, исходящего из действия других сил, будь то судьба или боги. «Вот здесь вселенная моя, – говорит он, обращаясь к глиняным изображениям людей, в которые скоро будет внесена жизнь, и они оживут и станут людьми. – Вот здесь моя вселенная, здесь дух мой, разделённый тысячекратно и целостный в моих любезных детях». Любопытно, «Фауст», который тоже был задуман в эпоху «бури и натиска», имеется в виду и «Пра-Фауст» Гете, и то, как он, этот черновик великого «Фауста», вошёл потом в окончательный текст – Гете не отверг этот образ, хотя он создавался в эпоху, которую позднее поэт корректировал. И от многого отказывался.

Отрывок «Природа» создан был именно тогда, когда «буря и натиск» открывала какой-то иной этап для Гете, в котором он поправлял себя. Не случайно потом он отказывался от авторства. Гениальный отрывок

«Природа», конечно, был создан самим Гете. Но позднее он всё же допускал возможность, что это какой-то чужой текст, который отвечал его мыслям, выражал его мысли. И позднее он вносил некоторые поправки, уже по следам зрелого, создаваемого поэтом в течение почти всей жизни, «Фауста». И очень любопытно соотнести «Прометейя», «Природу» и «Пра-Фауста». Это уже делалось исследователями. Но очень любопытно и очень важно было бы проследить, как менялось это религиозное и научное, и художественное мироотношение Гете по тому, как в «Фаусте» эта проблема годами решалась. И в основном, решалась во второй части «Фауста». Можно сказать, что первая часть есть выражение, и во многом, осуждение того, порожденного «бурей и натиском» героя, который оказывается в центре этой гениальной первой части. Его порывы, его неудовлетворенность собой, его любовь к Гретхен, его вина перед ней – всё это и породило версию об осуждённом Фаусте. Которой, в общем, так или иначе придерживались все, писавшие на эту тему. И Клиггер, и до него Кристофер Марло, и даже Гейне в своём балетном «Фаусте» – в либретто или в плане, так сказать, в словесном варианте балетной интерпретации этого сюжета. А позднее Берлиоз, который так и назвал своё произведение «Осуждение Фауста». Гете, вроде бы, в первой части его осудил. И Пушкин в своей «Сцене из Фауста», которой, как я полагаю, он по-своему завершил первую часть трагедии Гете, сведя её проблемы к тем проблемам, тем русским проблемам, которые его волновали. В «Онегине». Он тоже был склонен к осуждению.

Но вторая часть повествует, рассказывает о том, как Фауст возвращался к себе и как он в своих исканиях, блужданиях и заблуждениях осознавал верный или твердо знал верный путь. В точном соответствии с тем, что предписал ему и предвидел Господь: «хороший человек в своих смутных блужданиях твердо знает верный путь». Это была поправка, великая поправка к штюрмерскому Фаусту – во второй части трагедии. И там он вернулся к своему мотиву, связанному с Евангелием. Фауст, который хотел в первой части перевести Евангелие от Иоанна, первый стих его: «в начале было слово» – в итоге перевёл иначе: в начале было деяние. Это не было осуществлено Фаустом в первой части. Но он пришёл к этому в итоге своей жизни: «труд тысяч рук достигнет высшей цели, которую наметил ум один». И вот со свободным народом, на свободной земле, борясь ежедневно за жизнь и свободу, уже слепой Фауст предчувствует великое завершение своих

исканий и переживает высшее мгновение. Если бы он в таком состоянии увидел бы свободный народ, на свободной земле, он мог бы воскликнуть: «мгновение, продлись, остановись». «И это торжество предвосхищая, я высший миг сейчас переживаю». Ведь иными словами, завершая свой путь, а путь Фауста – это путь человечества, как было и задумано, и осуществлено в трагедии Гете, он, по сути дела, осуществил то, как он перевёл в Евангелии: в начале было дело. Хотя воплощаться это стало в конце. Так связаны разные этапы работы Гете – его пути, его исканий, его личности, его духовной судьбы и его поэтического подвига. Самая последняя сцена трагедии Гете возвращает к христианству, возвращает к тому дантовскому надземному миру, в который взята бессмертная душа Фауста. Там будут прощены его грехи, там его бессмертная душа встретится с душою Гретхен. Там будет поправлена первая часть трагедии. И вот, казалось бы, этим подвигом, этим опытом, этим своим великим «Фаустом» Гете и решил все проблемы. Бог не только любил своего протеже Фауста и предсказывал свою победу над Мефистофелем («Ты проиграл наверняка. Чутьем по собственной охоте он вырвется из тупика»), но он, по существу, был Фаустом у Гете. Да, Бог был Фаустом. Сам Господь во всем объёме своего творения, в своих предвидениях (« когда садовник сажает деревцо, плод наперёд известен садоводу»), в сущности, Бог был не только садовником, но и взращенным им садом. Плод, который предвидел Господь и предписал Господь, был его, Господа, творением. Был, по сути дела, им самим. Он мог бы сказать о себе дерзкими словами Прометея: «я руки протянул, когда увидел, что тянутся они». И таким образом, получается, что все проблемы принципиально решены. И то, что до сих пор эпоха юности человечества продолжается, до сих пор не решено и представлено как некое противоречие, как противопоставление земли и неба, идеала и действительности – это всё есть этап недовершенного самопознания в сознании и опыте самого Бога.

Но наступает этап зрелости. Тот этап, когда садовник собирает плоды. Та эпоха, которую предвидел Шиллер в своем трактате «О сентиментальной и наивной поэзии»; когда свершений, дел будет достаточно для того, чтобы уже не противопоставлять действительность и идеал. Когда исторически будет завоеван реализм мироотношения. Когда идеальный человек и реалист, реальный человек (по определению того же Шиллера), сольются, соединятся. Всё это предсказано уже давно. И мысль о счастливом будущем

человечества связана с этой великой традицией. И только духовным падением, откатом назад, реакцией в самом глубоком смысле этого слова нужно объяснить недоверчивое, а то и насмешливое отрицательное отношение к светлому будущему. Его можно называть по-разному. Но эпоха этого светлого будущего должна наступить. Раз было детство человечества, раз была затянувшаяся эпоха юности, то наступит и зрелость. Но некое скромное дополнение к тому, что уже, казалось бы, сказано и осознано, вот пытаюсь сделать и я, скромный я, внося идею и принцип ипостасности соотношений. Осознание ипостасности и есть эпоха зрелости. Этот принцип позволит обобщить весь опыт истории. И то, что противостояло одно другому в сюжетах исторического бытия прошлого и, особенно, нашего катастрофического настоящего, предстанет как разрешаемое ипостасное единство, внутри которого существует и остаётся вся горечь, вся глубина противопоставлений, которые были выявлены прежде и безнадежно раскрыты сейчас. Ипостасность есть осуществление надежды. Это по-настоящему не было сказано. Не было сказано и в философии, и в истории. И не было осознано в опыте человеческом, который, вот получается, если оглянуться на давнюю традицию, который оказывается самим божеством, сознанием самого божества, проясняющегося в опыте нашего человеческого сознания. И здесь в начале было дело, то есть, в начале потянулись руки, а потом, увидев, как они тянутся, Прометей протянул их сам. Так поступает и Бог, понятый, как ипостасное тождество, ипостасное, взаимопереходящее к себе самому единство бытия. Это должно быть осознано.

Но будет осознано только по следам того, что будет сделано. Значит, нужно сейчас не возвращаться к средневековью и не погружаться вновь в неразрешимые противоречия эпохи юности, а делать новые и новые, всё более и более точные шаги эпохи ипостасной зрелости. И в эту эпоху тоже всё будет осуществляться в очень напряженном единстве. Зрелость всё время чувствует возможность возврата к юности. И иногда даже возврата к спасительному гармоничному детству. И каждый день, и каждое мгновение зрелости есть победа её над временем; есть уточнение, прояснение этого божественного сознания; есть приход к себе самому, ещё не познанному, но уже сотворенному в опыте. Во всяком случае, творимому ежедневно, каждый день. Мне думается, что, если по-настоящему продумать, если точно сформулировать, точно обосновать религиозную основу этой версии; если

опереться на опыт научного познания её же, этой версии, опыты теоретические и, главное, деятельностный и художественный опыт предвидения; испытания каких-то данных сознания опытом жизни, воссоздание опыта во всём его богатстве, красоте, острейшей трагичности, – если это сделать основной духовного взросления, если осознать это сегодня, сейчас, то, может быть, мы сделали бы шаг к ипостасному взрослению? Во всяком случае, опыт отдельного человека может быть опережающий то, что будет совершено всеми; может быть в наивной форме предчувствующий будущее, но при этом остающийся опытом отдельного человека; может осуществить то, что ещё далеко не скоро будет осознано всеми и самим Богом. Бог уже есть, но ещё не родился. Ницше неправ, говоря о смерти Бога. Как раз наоборот. Он ещё не родился, но он уже есть. Есть в опыте человечества. И он из наших сознаний создаст своё сознание. И одолевая контраст в том, что совершается на этом пути к будущему, создатель из наших сознаний создаст своё сознание. Таким образом, если вернуться к «Фаусту» Гете, то получается, что в итоге Гете поспешил завершить последние сцены, свою великую трагедию. Она остаётся не завершена. Потому что главное свершение не только в том, чтобы, следуя этому порыву к вечной женственности, вознестись над земным опытом. А наоборот, в том, чтобы этот великий опыт, эту заповеданность истины всей, это царство вечной женственности сделать земным, спасительно отвечая прояснившему себя самого божьему замыслу, осуществить его на Земле – как он это задумывал, когда в споре с Мефистофелем выразил свою веру в героя гетевской трагедии.

Вечная женственность возвращается на землю. Здесь на Земле «заповеданность истины всей. Всё быстрое – символ, сравнение». Но на Земле символ, сравнение возвращают к ипостасному единству неба и земли. И вот получается так, что то, что было вознесено над землёю, разрешается именно здесь, а не там. Конечно, многоголосие миров в бытии не даёт права на то, чтобы всё сосредоточить только в нашем земном опыте. И всё же удивительная и страшная догадка о том, что только здесь, как выражался мой дядюшка Самохвалов, на этой горошине Земли Господь осознает себя. Эта догадка страшна своей правдой. Наверно, так оно и есть. Во всей остальной таинственной, неизмеримой бесконечности Господь, если его ипостасно соотнести с его творением, собирает силы для того, чтобы

осмысленно решить и для него ещё закрытую задачу. Для него ещё не решённую задачу смысла и цели творения. Вот там он собирает силы, а творит здесь и возвращается сюда. Вот почему мой Данте возвращается туда, где подлинный рай. Вернее, подлинная возможность рая. И об этом мы уже говорили. Но и в моем ощущении любви та же самая закономерность. Данте смотрел на Беатриче своими глазами и ни разу не попытался посмотреть её глазами на себя самого. Нет, почему не пытался. Когда она ревниво подвергала его суду – за то, что он увлекался девчонкой, за то, что он забыл её. Это был взор Беатриче на него. И взор на него, молодого. Того, кого она могла ревновать, и того, кого она любила. Значит, я не так уж ушёл от «Божественной комедии», разумеется, лишь содержательно не так ушёл, когда представила себе встречу Данте и Беатриче в земном раю совсем не так. На самом деле, так. Я не говорю о поэтической соотнесённости, здесь нет никакого сравнения. Здесь я ни в коей мере не пытался соревноваться с великим автором божественной поэмы. А речь идет просто о самом ощущении. Но оно достаточно дерзко отличается от того молитвенного ощущения, которое испытывал Данте к Беатриче в земном раю. Хотя и там он признавался себе, и мы уже упоминали об этом, что он ловил в груди своей прежние движения чувства земной любви. Значит, это была взаимная земная любовь, на пороге вознесения в небо. И может быть, вот эти строфы, давно написанные, когда я сам ещё был достаточно молодым, может быть, они передаёт это ощущение. Я ведь стихотворение, которое я сейчас попытаюсь вспомнить, отодвинул, боялся его, никому никогда его не читал вслух. Ну вот сейчас попытаюсь прочитать его себе самому по памяти: «Да, откровенность на закате дня сегодня превратилась в откровенье. И Беатриче, выслушав меня, мне рассказала о своей измене. Земная бронза двух упрямых скул, орлиный взор победоносно замер. Ведь я ещё ни разу не взглянул на самого себя её глазами. Пускай меня преследует Господь и снова гонит от родного дома. Она любила молодую плоть, она меня любила молодого. И целых семь веков меня звала за нею следом улететь куда-то, где будут наши юные тела восходом солнца в сумерках заката. Итак, дерись до положения риз, отдай себя абстракциям и фразам. А Бог предпочитает афоризм о том, что тело это высший разум. Я не умею жить моей виной, хотя она почувствована всеми. Любимая стоит передо мной, верна любви и неверна поэме».

30 декабря 2019

Разделение, противостояние, борьба противоположностей и их единство, как говорили теоретики материализма и диалектики. Это всё важнейшие моменты ипостасности. И такое состояние напряженной борьбы, напряженного несогласия с самим собой, ухода от себя ради того, чтобы к себе вернуться, характерно не только для человека отдельного, но и для всех людей, всего человечества, бытия в целом, Бога, который ипостасен бытию. Иными словами, ипостасен самому себе. Это очень трудно осознать, понять, проследить. Разумеется, это некое проверяемое религиозное представление, религиозная гипотеза, религиозное чувство. Я сейчас по-особому чувствую правду этого представления, этой идеи, этого внутреннего единства, живущего противоречием с самим собой.

Таким образом, возрождается необходимость религиозного, научного, художественного представления о будущем в эпоху зрелости. Это не возрождение детства, когда земное и небесное оказывались в некоем единстве. Оно было и религиозным, оно было и художественным, и философским в эпоху гуманизма, но оно всё-таки не знало идеи ипостасности. Ипостасность всё равно была вознесена над миром. И земной мир, земная красота мадонны с ребёнком, святости и апостолов, и самого Христа, и Иоанна Крестителя – всё это представало в некоем нерастяжимом синтезе, в котором не было, может быть, той важнейшей приметы зрелости, которую ещё предстоит обнаружить, познать и воплотить и в искусстве, и в религии, и в науке, и во всей культуре духа. Ну что ж? Может быть, и в самом деле такое мироотношение возвращает сознанию цельность раздробленного и разбитого в эпоху юности мира. Когда недовольство собою оказывается недовольством миром, возможностью противостояния Богу, а, в сущности, самому себе. Ипостасность соединяет разбитое и ни в какой мере не сглаживает противоречия. Соединение того, что не может быть соединено, это и есть чудо. И такое чудо происходит ежесекундно. Вот почему жизнь продолжается. И даже моя жизнь, уже подступившая к грани, финальной грани моей ипостаси, и эта жизнь продлевается. И я чувствую силу этого состояния. Есть некая сила, которая продлевает то, что, казалось бы, должно было бы завершиться вчера. О конце мира говорят и любят говорить сегодня. И те, кто веруют в «загробь», по выражению Маяковского.

Но на самом деле бытие мира продлится. Я это чувствую. Слишком многое не осознано в этом, ещё не явившимся, не осуществившимся в конце концов, в полном проявлении, этапе зрелости. Зрелость теоретически, религиозно, художественно предчувствуется, о ней столько сказано, ибо все откровения культуры – отблеск этой эпохи зрелости. При том, что осознается оглядка назад, оглядка на детство, когда всё было в единстве, в гармонии – по сравнению с тем, что происходит в эпоху юности. Вот это ощущение предчувствуемого зрелого соединения того, что разорвано, того, что разбито, конечно, недостаточно. Бытие рождено и продлено не затем, чтобы только предошущать. Оно продлено, и предчувствуемо продленное в нем ожидание зрелости ради того, чтобы сполна испытать его правду, его выдержавшую все испытания, все опасности, все кризисы красоту и правду. Сейчас говорить об этом можно только себе самому. Любой, кто подслушал бы этот разговор, посмеялся бы над тем, кто так по-детски размышляет сегодня. Но я ничего не боюсь теперь. Противоречащий всегда рядом, видимый, невидимый. Вот и сейчас он смеётся над моими размышлениями и готов прошептать мне о том, что мир находится не только в критическом, – катастрофическом состоянии. И что это предчувствие конца мира совершенно естественное – предвестие, грозное предвестие того, что бытие не доживет до зрелости. Как часто человек не доживает. Есть те, которые всю жизнь остаются младенцами. Есть и, как правило, таких большинство среди мыслящих, те, кто вечно пребывает в юношеском, мучительном, полном контрастов, самоощущении.

Но зрелость всё равно мерцает в видениях художественного предошущения, представления; каких-то временно сейчас замерших попытках философской мысли и особенно религиозного чувства. Увы, очень часто для многих, для тех, кто не признает паритетность, равноправность основных начал духовной культуры, для них религия – возврат к детству. Но дело в том, что в христианском мироощущении возврат происходит иначе. Это не возврат к детству. Это возврат к юности духовных исканий, к юности противоречий с самим собою. И как важно и сложно, почти недостижимо сложно, признать, что это состояние присуще не только человеку, но и Богу! А его всеведение, его не исповедимые для нас пути – это присущее юности предошущение зрелых свершений. Сейчас сказанное мною самим себе, самому себе, ну, выглядит странно. Но я чувствую, что это сказанное –

отблеск того, что предстоит. «Верь тому, что предстоит» – строчка из «Фауста», из первой же сцены второй части трагедии. Где Гете совершил переход к предчувствуемой зрелости от эпохи юных взрывов «бури и натиска» в самом себе. Он проектировал зрелость. Не зная идеи ипостасности, он пытался это совершить. И поэтому эпоха зрелости, как она предстоит нам в «Фаусте», во второй его части, является как неистовый поток попыток Фауста обжить то или другое состояние, отдаться тому или иному увлечению. В первой части этого нет. А во второй его жизнь и судьба – цепь таких порывов. Вот та самая спираль философская, когда очередной порыв оказывается пронзенным насквозь сомнением, самоотрицанием, отрицанием этого увлечения, крушением его и тут же из его недр рождением нового порыва, на более высоком уровне. Не замкнутый круг, но спираль. Соединение Дон-Кихота и Гамлета в едином, впервые в мировой поэзии созданном вечном образе. И даже само представление о спирали ещё пока не достигает ясности и полноты предощущения того, что я называю ипостасностью. Философская спираль и ипостасность это разные вещи. Философская спираль механистична. Мы можем представить себе её в некоей модели развития. Она не объясняет, почему круг становится спиралью развития. Она не объясняет этого перехода от одного разорванного круга к другому, соединённому с ним на более высоком уровне бытия и осознания этого бытия. Спираль сама по себе уже несёт в себе некое религиозное, данное откуда-то извне, представление о неразрывности. А вот приоткрытие тайны перехода от одной ипостаси к другой, как спирального возвращения к другому самому себе – это ещё нужно мне, разумеется, только мне, осмыслить в этих беседах с самим собою. Но я живо представляю себе, как важно это осознать многим и многим, и как это в действительности будет осознано. Если продлится эпоха юности, если бытие не оборвется, бытие, разумеется, человеческое, бытие микрокосмоса. Если продлится это затянувшееся состояние юности, то неминуемо осуществится зрелость. И первостепенно важно это учение осмыслить, утвердить, перепроверить во всём объеме духовной культуры – и религиозно, и научно, и художественно. И тем самым дать возможность, наконец, осмысленного перехода от одного разорванного круга к другому, более высокому. Спираль перестанет быть спиралью, она станет чем-то другим, чему я пока ещё не могу найти определения и слова. Но вот мне

кажется, что ему, тому, кто, завершив «Фауста», запечатал рукопись в собой пакет, с тем чтобы она была издана лишь после смерти автора, я бы мог сказать что-то такое, что, может быть, было бы для него новым и что, может быть, продлило бы его земное бытие. Как рассказывают биографы, Гёте перед самой смертью в его некоем видении обнаружил, что рукопись его друга Шиллера, какой-то листок из этой рукописи, лежит на полу. Я сейчас неточно вспоминаю эту подробность и не могу сказать точно, кто её передал читателям. Но я очень живо представляю себе этот момент. И он у меня в повести «Поединок» возникает. Там школьники вместе с учителем ставят «Прометея» Гете. И там где-то появляется среди тех, кто играет Прометея, Пандору, Эпиметея, Меркурия, там среди них появляется в какой-то особой форме и сам Гете. И перед ним опять, как когда-то в жизни, мелькнула эта лежащая на полу страница рукописи Шиллера. И он, обращаясь к кому-то, говорит о том, что, как можно так обращаться с рукописями его великого друга. А на самом деле, переход от Шиллера к Гете и от Гете к Шиллеру в последний момент или почти в последний момент жизни автора «Фауста» – это исполненная смысла, глубочайшего смысла, образная модель. Себя Шиллер называла идеалистом, Гете мог назвать и называл реалистом. Так можно заключить, читая его гениальный труд «О наивной и сентименталистской поэзии». И переход от Шиллера к Гете в духовной истории человечества – это великое событие. И я к нему ещё вернусь, перенеся каким-то особым способом этот сюжет в нашу современность. «Я не за возрождение и не за эпоху Возрождения, а за возрождение в нашу эпоху», – так сказал Самохвалов однажды в разговоре со мной. И там был кто-то ещё, пошутивший насчёт эпохи Возрождения. Как всегда, мой дядюшка был точен. И возрождение в нашу эпоху это ипостасно иной возврат к тому, что было так прекрасно в детстве и что остается, по Марксу, прообразом зрелого будущего.

«Она любила молодую плоть, /Она меня любила молодого». Но эти слова произносит уже немолодой мой Данте. И мог ли он дожить до того рубежа жизни, когда естественно было бы произнести эти слова? «Целых семь веков меня звала /За нею следом улететь куда-то». На семь веков мой Данте продлил вторую половину жизни. И ничего из того, что было добыто на высотах духовных прозрений, откровений, вознесений к самому Богу, после того, как он спустился на землю вновь, не было утрачено. Конечно,

выразить мне это пока не удалось. Но ведь, независимо от меня, Данте продолжал свою жизнь эти семь веков. И в его особом, неуловимом и не выявленном пока способе быть, эта жизнь его продолжалась и несла в себе всё, что было осознано, понято, испытано в первую половину жизни, на первой половине жизненной дороги. Но тем не менее, я всё же пытался присмотреться к себе самому, когда писал эти строчки. «Она любила молодую плоть, она меня любила молодого». Тогда я ещё не прожил вторую половину и третью половину, по сути дела, третью треть бытия. В сущности, по Данте, должно быть три этапа жизни: один – ранняя юность, почти детство, когда Беатриче была ребёнком; второй – юность, когда его одарила та особая духовная любовь к ней; и третья часть, третий этап земного бытия – это когда он писал «Божественную комедию».

Тогда, как ни парадоксально, осуществилась его зрелость. И эта зрелость была нисхождением в ад и восхождением по уступам чистилища к земному раю и вознесением в небо, к Небесной Розе, где Беатриче стала одним из источников света. Одним из лепестков этого небесного единства, сияющего ослепительной точкой, бросившей окончательный ответ в душу поэта. Точка эта – Бог. Так вот за свою неполную жизнь – первая половина и неполная вторая – Данте прожил три этапа своего земного бытия. И не осуществилось то, что должно было бы осуществиться. Ну, так, как у Гомера. Потому что ему, слепому или не слепому, выпала последняя треть земной жизни, когда только и могла создаться, родиться «Илиада» и «Одиссея». А Гете, вроде бы, почти совершил эти три этапа своей жизни, написав «Фауста».

Но «Фауст» был опережающим прорывом к зрелости. Да, опережающим прорывом. Гете чувствовал, что он проникает туда силой прозрения, даром поэтического видения, безудержной фантазией преодоления времени. Независимо даже от того, насколько возможные читатели «Фауста», его второй части, готовы к тому, чтобы оценить и сопережить с ним этот прорыв. И вот сейчас я самому себе скажу то, что редко, наверное, кто-то скажет сегодня. Наш опыт революции и наша, казалось бы, такая страшная и, вместе с тем, столь великая и победная история той страны, которая возникла по следам революции и одухотворенная её, революцией, силой и волей, что вот эта история Советского Союза – это тоже опережающий прорыв к зрелости. Именно

потому, что он был опережающим, он сопряжен с такими блужданиями, с такими заблуждениями, с такими преступлениями, насилием, с такими нравственными падениями тех, кто, казалось бы, жил в этой новой рождающейся системе, создавал её, боролся за неё, пытался ее очистить от всего враждебного. Тот отрицательный опыт, который вот сейчас так радостно вспоминает Противоречащий, сидящий против меня за этим круглым столом, громаден. Неисчислимы жертвы, ужасно насилие, чудовищны до самого низкого примитива фанатические и другие, связанные просто с недостаточной работой духовного начала, с отсутствием культуры элементарнейшей. С потерей той культуры, которая была наследована после революции от предшествующей, предыдущей, преджившей России. Всё это громадно. Но это всё равно не может, как бы ни пытались такие, как вот этот Противоречащий, который слышит меня, принизить, растоптать, свести все к горькому и пустому даже, отрицательному опыту. Как бы они ни пытались это сделать, эта эпоха была эпохой прорыва к зрелости.

Опережая, мы очень многое не испытали из того, что должно было бы подготовить на нашей российской почве этот прорыв. Мы не испытали то, что сейчас, в течение уже скоро 30 лет, называем рыночными отношениями, которые пытались поставить перед собою и в себе самих как панацею от всего. Как некую замену божества. Православие – это совестливая попытка восполнить это духовное падение. Я говорю о православии настоящем, не формально догматическом, не том, в которое оно может выродиться. Не то, как однажды во сне сказал мне Воланд, не то, в котором происходит фашизация религиозной традиции, этой галактики православной веры. Вот это всё, казалось бы, перечеркивает наш опыт прорыва. А на самом деле, лишь его подтверждает.

30 лет истории – это огромный срок. За это время рождались, развивались и падали многие системы; многие были исторические свершения и в государственной, и в политической, и в культурной жизни. У нас это тянется до сих пор, но, кажется, переживает конвульсии и агонию у нас на глазах, сегодня. Вот это всё было своего рода попыткой компенсировать то, что мы не успели по-настоящему пережить до того, как этот прорыв к зрелости совершился. И несмотря на все ужасы, утвердил себя в память о гражданской войне, и тех полных энтузиазма десятилетиях мира, и в Великой Отечественной войне. И почти молниеносной быстроте

восстановления страны. И продолжал этот импульс жить инерцией, порожденной этим событием; инерцией, которая продолжалась полвека, начиная с шестидесятых годов. Когда оттепель, так называемая, была на самом деле не прорывом в будущее, а возвратом к тому, что мы не успели пережить, не успели обжить в дореволюционном пути. И в литературе это было не прорывом к новой поэзии, не прорывом к новой художественной правде, а восстановлением того, что уже было. Вот так развивалась наша история XX века.

И век XX1 – конвульсии того падения, которое мы пережили. Но само падение подтверждает то, что прорыв был. И сейчас другого пути как пути к новому обретению сил, приближающих зрелость, у нас нет. Вот почему те, кто, как этот мой Противоречащий, старается погасить в себе, даже не то, что не верит в эту возможность зрелости, но постарается, даже веря в неё, подавить в себе возможность такого осуществления, он враждебен зрелости: зрелость будет означать его, небывалое ещё поражение. А пока он чувствует себя победителем, участвуя в этой агонии нашей сегодняшней российской истории. Но даже те уродливые, вызывающие уже понемногу ненависть, попытки восстановления так называемой тоталитарности, даже они свидетельствуют о том, что должен быть исход, должен быть выход к чему-то, подлинно утверждающему зрелость. Повторения быть не может. И зрелость неизбежна. Если только мы не прервем наше бытие, и если на самой планете бытие продолжится, я думаю, что это будет так. Всё-таки Бог существует, Бог есть. Он есть во всём опыте нашем, он есть в нас самих. И это долгое переустройство, пересоздание преодолет контрасты. И Бог своё собственное сознание создаст из наших сознаний. Вот то, что я чувствую всей душой, всем своим существом. Покидая жизнь и, по возможности, продлевая её. Я чувствую, что некая сила, которая вложена в мою ипостасность, вложена не мною, эта сила продлит третью часть моего бытия.

Последняя треть бытия. Царство осознанной ипостасности. Надо вместо термина «коммунизм» найти другой. Пока ещё не найден, но дело не в этом. Царство ипостасности, осознанной именно здесь, на земле. Ну и в космосе, если удастся это создание человеческого неба, как писал об этом Пришвин, видимо, оглядываясь на учение Фёдорова об освоении космоса: «чтобы бесконечное пространство заселить бесконечной воскрешённой жизнью, земной жизнью». Я удивляюсь, почему мы, столь богатые такими

прогнозами, запредельными гиперболическими версиями будущего, всё это отбрасываем в сторону и остаёмся ни с чем. В агонии сегодняшнего кризиса. Причем, кризис этот стабильный. Никаких крушений пока не происходит, и гражданской войны нет. И народ терпеливо ждёт, и народонаселение терпит. Кто-то как-то устраивается, при этом часто теряя совесть и отсекая всякие мысли о других. То, о чём всегда думали лучшие люди России. Стабильно. Но эта стабильность может взорваться когда угодно и когда не угодно, и внезапно. Последние мои повести «Правитель», «Политик», «Илья», поэма «Коран» в себе содержат некоторые чисто сказочные, выдуманнные прогнозы. Поэтому последняя книга так и называется «Сказки». Но там же говорится и о сегодняшнем положении. Повесть «Илья» целиком посвящена украинским событиям. И об этом, мне кажется, я в ней сказал. Равно как и в романе «Политик», где есть предупреждение о фашизации власти. О том повороте, перевороте, который может случиться у нас. В самом деле, такого переворота у нас не было. Любая рыночная стихия, то, что называли еще недавно капитализмом, вот этот олигархический феодализм – всё это чревато фашизмом. Когда станет очень уж абсурдно и плохо, фашизация придёт на помощь в кавычках, отодвинув память обо всём, что мы знаем в связи с фашизмом. А мы, казалось бы, знаем. И что, вот здесь, вот в этой нашей сегодняшней реальности, Бог пытается нашими усилиями, где эти усилия? осознать себя? Это совершенный абсурд.

Но ведь Бог, как бы его мы ни понимали, как некое изначально движущая и движущаяся мощь, или как некое творческое «Я», которое созидает мир и заранее знает пути его спасения или гибели, как бы мы ни осознавали Бога, но вот с моей сегодняшней точки видения ясно, что Бог или природа, осознающая себя (как угодно можно назвать) не просто создает ипостасную реальность, а сама включает себя в неё. Бог создаёт не просто людей, не просто сынов Божьих, Бог создает второго, или другого; не второго – другого себя, ипостасного себе этому. Вот почему я не отрицаю ни одной из конфессий. Прежде всего, особенно не отрицаю православие, точно передающего, старающегося точно передать в изначальном проявлении христианскую традицию. В отличие от других конфессий. В ней чрезвычайно много того, что прямо отвечает моим представлениям о Боге, его соотношении с миром. И это может быть и не только представление. Это бытийная, сверхбытийная, изначальная реальность. Но реально для меня и

то, что эта божественная сила создает нечто ипостасное себе и существует или может существовать, или можно допустить, что существует, тот же самый, но другой Бог. Речь идет не просто об ипостасной троице. Здесь другая, более широкая ипостасность. Этот другой Бог заново, из опыта бытия и небытия, созидает своё сознание.

У Гете в «Прометее» есть ведь не только Прометей-провидец, но и Эпиметей, сильный задним умом. Позднее у Гете была попытка создать ещё одну драматическую поэму «Пандора». Где Эпиметею уделено больше внимания, и он чуть ли не становится главным героем. Есть Бог Прометей, есть Бог Эпиметей. Но не тот, кто просто созерцает и, получив неожиданное наследие, пытается его задним умом осмыслить. Эпиметей – творец, который созидает своё сознание по следам собственного творчества. И есть Бог, который опытом своего творчества проверяет и своё сознание, полученное по следам опыта, и свою, может быть, даже и не вполне осознаваемую, сверх осознаваемую божественную силу, творящую мир. Это всё различные ипостаси одной духовной мощи, которая существует не только как некое триединство Бога, единого Бога, но существует и как некий принцип созданного им бытия. Где создатель оказывается ипостасью среди своих творений и принимает эту роль, и входит в это состояние, и оказывается тем же самым другим. И завещает эту возможность, эту способность творчества всем созданным им сознаниям, существам, сущностям.

Вот во всеоружии такого предельно, но не запредельно широкого сознания и надо созидать царство осознанной ипостасности. Царство будущего. Земное, и не только земное, царство ипостасного микрокосмоса, ипостасного макрокосмоса. И то, что за пределами всего сущностного, явленного или ещё не явленного в бытии и в небытии. Вот это царство есть царство зрелости. Царство зрелости определено тем, что творец осознаёт, по возможности, своё творчество. И Бог-творец может быть богаче, неизмеримо богаче, чем Бог, осознающий своё творчество. И само сознание, может быть, во многом человеческое, слишком человеческое проявление, Богу и не нужное, ибо его свобода, его осознанная творческая мощь не нуждается в таком сознании. Это самое зрелое и, вместе с тем, всё равно вечно юное и всё равно по-детски наивное, ипостасное внутри себя самого начало. Развитая творческая мощь. Конец, перед тем, как наступит пора новой

ипостаси, временной и пространственной. Боже мой, как много ещё хочется сказать. Но это то будущее, которое, я чувствую, неминуемо осуществится. И как бы мы ни посмеялись сейчас над этими размышлениями и раздумьями, чем больше мы над ними смеемся, тем больше невольно им служим. Ещё Тургенев в своей речи о Гамлете и Дон-Кихоте говорил, цитируя: чему посмеешься, тому и послужишь. Вот блики такого будущего есть и в нашем сегодняшнем застое, нашей сегодняшней стабильности или стабильности нашей сегодняшней катастрофы. Потому что эти блики всё равно, так или иначе, отражают, пусть неосознанные, попытки прорваться к зрелости.

31 декабря 2019

Наивное – сентиментальное – реалистическое. Такова триада Шиллера в трактате «О сентиментальном и наивном в поэзии». У Шиллера тоже нет идеи ипостасности. В его трактате всё на противопоставлении. Наивное – древнее. Ну, другие скажут: эпоха детства человечества и наивно-реалистическая одновременно. Сентиментальное – отрицание наивного. Резкое и осознанное противопоставление идеала и действительности, внутреннего мира и того, что объемлет человека. Гете скажет, восприняв эту идею Шиллера, не сентиментальное уже, – а романтическое. Это в его статье «Шекспир и без конца Шекспир». Реалистическое в основе своей – идиллия, по-Шиллеру. Он тоже разграничивал сентиментальное – сатиру, элегию, идиллию. Сатира – резкое отрицание действительности с позиции идеала. Элегия – ностальгически мечтательное сожаление о том, что гармония идеала и действительности ушла в прошлое, осталась в детстве, была призрачной для взрослеющего сознания. Идиллия – те моменты реальности, где идеал и действительность в современном мире гармонизировали и совпадали. И Шиллер особую надежду возлагал именно на идиллию. Вера в идиллию была верой в то, что постепенно эпоха юности, сентиментальная, романтическая, будет сменена эпохой победившего реализма, когда островки идиллии сблизятся друг с другом. Может быть, сомкнутся в один материк, в один реалистический континент. И тогда реализм вернется уже не как наивный, а как добытый исторически способ и тип мироотношения. Эпоха зрелости.

Трактат Шиллера гениален, и Гете, конечно, использовал его опыт в своей поразительно глубокой версии. И в своей апологии Шекспира; вернее, в своём открытии Шекспира для всего современного мира. Ибо Шекспир, по Гете, сосредоточил своё внимание художника на тех моментах, когда воление внутреннего человеческого сознания совпадало с объективным историческим движением эпоса. И чем больше таких моментов будет в истории, разумеется, тем ближе эпоха победившего реализма. Уже не наивного в будущем и уже не только в истории, а в сознании. Но в культуре, в поэзии, в литературе будет рассвет искусства слова, в котором мы превзойдем Гомера, не повторяя его. Но опыт литературы после Гете, когда реализм и в самом деле стал побеждать, невольно возвращал к Шиллеру. Оказывалось, что тот критический, как у нас без конца писали, реализм, по существу, – сатира. То есть часть проявления сентиментальной или романтической литературы, сатира – отрицание действительности с позиции идеала. Хотя сам идеал в так называемом критическом реализме не был достаточно определен и ясен. Это был уже не внутренний мир человека, не его запросы к Богу и миру, а объективный ход истории.

Итак, реализм, в том качественно новом, победном, эпохально победном, проявлении зрелости, получается, ещё не состоялся. Отсюда идея, не совсем точно обоснованная, романтического реализма в эпоху, когда история сближает действительность и идеал. Когда идеалы реализуются, а действительность приподнимается, оказывается созвучной, соцветной идеалу. Разумеется, в процессе, до итога – целая бездна времени и опыта. Это дело будущего. Но представление о будущем таким образом складывалось. Связывать это с именем Горького и самой идеей так называемого социалистического реализма нужно очень осторожно, потому что идея значительно глубже, чем политическая, идеологическая заданность и предвзятость. Но даже в ней, в этой предвзятости и заданности, чувствовался исторически оправданный и, кажется, сегодня неповторимый момент и процесс прорыва в будущее. Уж если великий реализм мировой, европейской, не только русской литературы не вполне состоялся как реализм в шиллеровском понимании, а был проявлением сатиры, уже не элегии. Поскольку иллюзорная идея наивного, оставшегося в прошлом, была отведена критическим умом, позитивистской направленностью, пафосом позитивизма. Ну уж если вот не состоялся этот реалистический,

натуралистический даже прорыв в будущее, и уж если натурализм оказался предвестием кризиса реализма (отсюда модернизм в дальнейшем, постмодернизм в настоящем), то социалистический так называемый реализм тем более не состоялся – в том качестве, смысле, в том масштабе, в каком он был, казалось бы, подготовлен историей. И тем не менее, и то и другое состоялось. Реализм, позитивизм, включая даже натурализм, открыл случайно многие возможности искусства, выходящего за пределы этой тенденции, этой осознанной или неосознанной идеи. А соцреализм тоже в лучших своих творениях выходил за рамки тенденции пропагандистско-политической. В этом смысле условной, обречённой на то, что её опровергнет опыт. В нём было нечто нереализованное.

И всё это собирается в некую пока ещё неосознанную идею зрелости, которая, неизвестно когда, наступит. «До рассвета и тепла ещё тысячелетия», – сказал Пастернак. Но чувствовать взросление нужно уже сейчас, в отчаянную, казалось бы, минуту кризиса. Стабильность этого кризиса обещает новый прорыв, новые открытия, новую выраженность в слове того, что не было сказано и досказано прежде. И соревнование с Гомером ещё впереди. Ипостасный реализм – ненавязчивая, надеюсь, попытка личного моего прорыва. Наверное, она тоже не состоялась, но в ней есть некий опыт того, что осуществится. И временами я чувствовал, что нечто, ещё не сказанное, может быть сказано. Потому что исторически готовится исход, прорыв, выход из кризиса к новому, завоеванному культурным опытом, уровню бытия.

К эпохе ипостасной зрелости, которая когда-нибудь будет осознана. Сейчас это мечта. Даже не столько мечта, сколько беспощадная к себе самому попытка присмотреться к тому, что происходит в искусстве слова, направленном к этой эпохе зрелости. Что-то удалось, что-то совсем не удалось, что-то остается недовершенным и совсем даже не начатым ещё. Поэтому мне рано чувствовать грань моей ипостаси. Грань, которую нельзя не чувствовать, которая реальна. И всё-таки её ощупывать рано. Сколько бы ни оставалось возможностей, надо, не боясь насмешек Противоречащего, продолжать этот, казалось бы, бесконечный разговор с самим собой. Надо вести его так, чтобы он не мог быть завершён и продолжался бы после того, как ипостась сомкнется у меня за спиной. И я окажусь либо в глубине и пропасти небытия и там останусь, либо почувствую в этой пропасти начало

иного бытия. Ибо небытие ипостасно бытию. Тут принцип ипостасности спасителен. Постмодернистская попытка приравнять небытие к бытию интересна своей новизной, но лжива. Оно разрешится в пользу небытия, ибо не может из себя самой объяснить это равенство в пользу бытия. А принцип ипостасности, если не объясняет, то во всяком случае ставит задачу такого объяснения, предчувствует решение. И некое особое измерение сознаний, мироотношений в этом вновь рождении из глубин небытия становится пока ещё не уловимой, но реальностью. Приметой, победой этой реальности.

Разумеется, и эти мои размышления вполне можно считать наивными. И всё же они не только наивные. Пока, разумеется, лишь для меня. Вот почему разговор с собою будет продлён завтра. Да и сегодня он не завершается. Сегодня, в день Нового года, накануне Нового года. И день этот никогда не был для меня таким, казалось бы, скорбным, печальным, безысходным, как в этом году. Он всегда нес в себе тревожную и радостную энергию ожидания. И всё же именно этот Новый год я встречу предощущением выздоровления. Чудо, если хотите, вновь рождения себя самого и новых, и новых попыток прорыва в будущее, которого, возможно, не будет.